



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

A 663562

891.78

Т 650

Д 6

UNIV. OF

DET. 15

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТО

КАКЪ ХУДОЖНИКЪ И МОРАЛИСТЪ.



КРИТИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

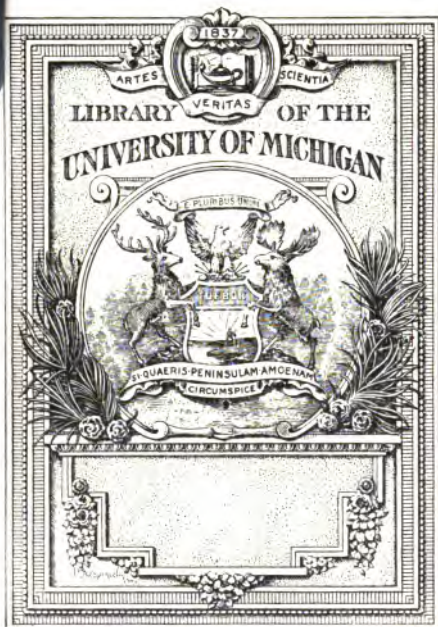
Барона Р. А. Диестерло



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. А. Левишева. Невскій просп. д. 8.

1887.



THE GIFT OF  
*M. Harris Baulig*

# ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ

*L. N. Tolstoy*

КАКЪ ХУДОЖНИКЪ И МОРАЛИСТЪ.



КРИТИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Барона Р. А. Дистерло.

*R. A. Distern*



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. А. Леведева. Невскій просп. д. 8.

1887.

891.78

T650

D6

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

---

Издавая особою книжкою настоящіе очерки, печатавшіеся въ прошломъ году отдѣльными статьями въ „Недѣлѣ“, считаю не лишнимъ предупредить читателя, чтобы онъ не искалъ въ нихъ подробнаго разбора и всесторонней оцѣнки произведеній графа Л. Н. Толстого. Журнальная работа не могла задаваться подобными цѣлями, для осуществленія которыхъ въ данномъ случаѣ потребовался бы объемистый трудъ и много времени. Въ своихъ очеркахъ я имѣлъ, главнымъ образомъ, въ виду—намѣтить основныя идеи въ творествѣ нашего знаменитаго писателя.

Собирая эти очерки въ одно цѣлое, я надѣюсь, что въ такомъ видѣ они болѣе будутъ отвѣчать своей задачѣ и, быть можетъ, ока-

жуются небезынтересными для читателей. Общій характеръ и сущность содержанія очерковъ остаются безъ измѣненія въ настоящемъ изданіи, хотя въ нѣкоторыхъ изъ нихъ сдѣланы довольно значительныя исправленія и добавленія.

*Авторъ.*

---



## I.

### Общая характеристика графа Толстого, какъ мыслителя.

Имя графа Л. Н. Толстого вызываетъ въ представленіи современной читающей публики два образа: образъ поэта, подарившаго намъ такія геніальныя произведенія, какъ «Война и Миръ» и «Анна Каренина», и образъ проповѣдника, подвижника нравственной идеи. Прошло уже около десяти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ графъ Толстой бросилъ перо романиста и всецѣло отдался исканію той правды, которая могла-бы отвѣтить на вѣчные вопросы человеческого сознанія. Эта новая дѣятельность знаменитаго писателя не осталась безплодною: скоро въ общество и въ печать стали проникать тѣ идеи, на которыхъ остановился нашъ художникъ-философъ, въ которыхъ онъ призналъ силу и способность удовлетворить духовныя потребности современнаго человѣка. И несмотря на широкую извѣстность Л. Толстого, какъ романиста, несмотря на громкую славу первокласснаго художника, которая въ настоящее

время признана за нимъ не только у насъ, но и во всемъ цивилизованномъ мірѣ, общество наше пристальнѣе смотритъ на второй образъ писателя—образъ философа, и съ бѣльшимъ вниманіемъ прислушивается къ словамъ открываемаго нравственнаго ученія, чѣмъ къ мыслямъ художника.

Что-же такое графъ Л. Толстой, какъ философъ, какъ проповѣдникъ? Въ чемъ сущность и характеръ его идеи? Чѣмъ отличается его философія отъ другихъ направленій нашего вѣка? И, наконецъ, въ чемъ ея значеніе?

Толстой рѣзко и глубоко отличается отъ господствующихъ въ нашъ вѣкъ теченій мысли. Его внутренняя фізіономія въ высокой степени своеобразна и оригинальна. И, что важно для насъ, эта оригинальность восходитъ къ тѣмъ основнымъ принципамъ духовной жизни человѣка, различіемъ которыхъ опредѣляются цѣлыя историческія эпохи.

Девятнадцатый вѣкъ называютъ иногда вѣкомъ отрицанія и сомнѣнія. Глубоко-ошибочный взглядъ! Если въ сужденіи своемъ объ этомъ вѣкѣ мы не ограничимся послѣднимъ десятилѣтіемъ, составляющимъ уже скорѣе переходъ къ новому времени, если присмотримся къ его молодости и зрѣлости, а не только къ моменту его отживанія, то увидимъ, что признаки отрицанія и сомнѣнія для него вовсе не характерны. Эти признаки несравненно полнѣе исчерпываютъ содержаніе *предыдущаго* столѣтія, восемнадцатаго, которое дѣйствительно разрушило міросозерцаніе прежняго человѣка, не давъ ему взамѣнъ ни-

чего положительнаго, и только въ самомъ концѣ, при послѣднемъ своемъ издыханіи, произвело идею, блестящимъ образомъ развитую въ девятнадцатомъ вѣкѣ. До восемнадцатаго столѣтія—и чѣмъ дальше въ глубь вѣковъ, тѣмъ больше и полнѣе—человѣкъ жилъ религіозною идеею. Присмотритесь къ душевному строю средневѣковаго человѣка, вчитайтесь въ задушевнѣйшія мысли писателей этой эпохи, вдумайтесь въ такіе факты политической жизни, какъ судъ духовной инквизиціи, какъ казнь альбигойцевъ, какъ религіозныя войны, и вы поймете, до какой степени полно и искренно человѣкъ этого времени не признавалъ за собою права на земныя радости, на земное счастье.

Но подавляемыя потребности наслажденія не могли быть однако вовсе истреблены въ душѣ человѣка; а оставаясь жить въ ней, онѣ неизбѣжно вступали въ борьбу съ началомъ, требующимъ постояннаго самоограниченія. Эти потребности и явились тѣмъ живымъ стимуломъ, который направилъ разумъ на критику господствующей религіозной дисциплины. Намъ нѣтъ надобности слѣдить здѣсь за ходомъ этой отрицательной работы разума; достаточно напомнить, что въ восемнадцатомъ вѣкѣ средневѣковая система рухнула подъ звуки безпощадной насмѣшки и ироніи великаго представителя вѣка—Вольтера.

Но человѣкъ восемнадцатаго вѣка недолго оставался безъ руководящей идеи: въ душѣ его уже созрѣвала новая вѣра, которая въ концѣ столѣтія произвела революцію 1789 года. Съ этого года въ сущ-

ности и начинается та новая эпоха, которую мы называемъ девятнадцатымъ вѣкомъ, такъ какъ именно тогда высказана была идея, принятая и развитая этимъ вѣкомъ. Прежній человѣкъ вѣрилъ въ блаженство загробное, человѣкъ девятнадцатаго вѣка увѣроваль въ блаженство земное, увѣроваль въ свой разумъ, силою котораго онъ надѣялся основать царство счастья на землѣ.

Смѣлъ и увлекателенъ былъ этотъ порывъ человѣческаго духа, когда послѣ средневѣкового страха жизни и боязни ея радостей, человѣкъ открыто и прямо сказалъ: хочу счастья и хочу его здѣсь, на землѣ. Но это стремленіе къ счастью не было только инстинктомъ, только эгоистическимъ порывомъ освобожденнаго человѣка; оно возведено было въ принципъ и притомъ не индивидуальной только, но всечеловѣческой жизни. Въ девятнадцатомъ вѣкѣ уже невозможнымъ оказалось то цѣльное, жизнерадостное существованіе, которымъ характеризуется античный, языческій міръ; человѣкъ слишкомъ привыкъ уже жить сознательно и уже не могъ отдаваться непосредственному процессу жизни; ему необходима была сознательная цѣль, необходимы были извѣстныя правила жизни. Эту цѣль и эти правила онъ нашелъ въ томъ культѣ человечества, который успѣлъ вырасти на почвѣ указаннаго стремленія къ благамъ земной жизни. Ту мечту всеобщаго счастья, тотъ золотой вѣкъ, тотъ роскошный эдемъ, которые для древнихъ народовъ Азіи и Европы были только преданіями незапамятной старины или лишь поэтическимъ вымысломъ,

человѣкъ девятнадцатаго вѣка сдѣлалъ своимъ идеаломъ, поставилъ передъ собою, какъ цѣль, которая манила его въ будущее. Онъ вѣрилъ, что можетъ осуществить эту мечту, вернуть этотъ золотой вѣкъ, создать этотъ эдемъ. И если эта наивная вѣра не можетъ не вызвать улыбку у нашего скептическаго времени, то мы не должны забывать, что въ началѣ разсматриваемой эпохи это была дѣйствительно искренняя и горячая вѣра. Этою вѣрою дышать всѣ произведенія того времени: возьмите «декларацию правъ человѣка и гражданина», возьмите различныя конституціи революціонной Франціи, возьмите сочиненія Кабэ, Фурье или Сень-Симона—и вы всюду увидите эту неизмѣнную вѣру въ возможность человѣку устроить свое счастье. Она естественно вытекала изъ двухъ источниковъ: изъ вѣры въ человѣческій разумъ и изъ вѣры въ развитіе, въ *прогрессъ*. Это послѣднее слово, быть можетъ, самое характерное для всего девятнадцатаго столѣтія.

Двумя путями можетъ человѣкъ приближаться къ счастью: или въ себѣ самомъ, въ своей внутренней личности онъ вырабатываетъ условія счастья, или же онъ заставляетъ служить себѣ внѣшній міръ и приспособляетъ его для этого. Средніе вѣка шли первымъ путемъ, девятнадцатое-же столѣтіе смѣло и рѣшительно вступило на второй.

Пожелавъ счастья, человѣкъ нашего вѣка призналъ себя величиною, не подлежащею измѣненію, и всѣ свои силы направилъ на приспособленіе внѣшнихъ условій. Настоящее человечества было да-

леко отъ желаемого идеала; но человекъ видѣлъ, какъ съ каждымъ десятилѣтїемъ растутъ его силы, какъ увеличиваются его средства въ борьбѣ съ природою, и продолжая въ своемъ воображеніи этотъ ростъ безпредѣльно, убѣждался, что его надежды не напрасны. Онъ надѣялся, что развивающаяся наука и техника сдѣлають его независимымъ отъ внѣшней природы и, главное, научать его устроить наилучшимъ образомъ междучеловѣческія отношенія.—Началась гигантская работа. Всѣ свои силы вложила западная Европа въ эту задачу и трудилась съ необыкновеннымъ одушевленіемъ, съ безпримѣрною энергіею и настойчивостью. И, нужно сказать, результатъ работы получился грандіозный. Волшебной сказкой, несбыточной мечтой показалась-бы наша современная жизнь не только какому-либо представителю эпохи «кулачнаго права», но даже и болѣе просвѣщенному семнадцатому столѣтію. Научныя открытія и техническія изобрѣтенія, примѣненные къ индустріи, къ способамъ передвиженія, къ быту частныхъ лицъ, до такой степени возвысили и видоизмѣнили нашу культуру, что съ нею уже не можетъ соперничать ни одна изъ извѣстныхъ намъ въ исторіи цивилизацій. Рядомъ съ этимъ шло развитіе и государственныхъ отношеній: современное государство есть изумительно сложный и тонкій механизмъ, способный осуществлять цѣлый рядъ самыхъ разнообразныхъ и часто весьма трудныхъ задачъ общечитія.

Но, среди всѣхъ этихъ успѣховъ, достигъ-ли че

ловѣкъ счастья? По крайней мѣрѣ, приблизился-ли онъ къ нему, сталъ-ли счастливѣе своего мрачнаго средневѣковаго предшественника?

Нѣтъ! должны мы сказать. И теперь счастье — все тотъ-же призракъ, тотъ-же миражъ пустыни, къ которому тщетно старается подойти караванъ прогрессирующаго человѣчества. Незамѣтно даже и приближенія къ нему. Зато рѣзко обозначаются признаки разочарованія современнаго человѣка, признаки изсякновенія въ немъ той вѣры, которою жило наше столѣтіе. Наиболѣе-же прозорливые умы Запада (Тэнъ, Спенсеръ) въ приближающемся будущемъ, въ надвигающихся волнахъ демократіи указываютъ новое «грядущее рабство» человѣка, эпоху новыхъ страданій, а не эпоху счастья.

И вотъ, въ то время, какъ западный человѣкъ стоитъ, задумавшись, на вершинѣ недостроеннаго имъ колоссальнаго зданія и, несмотря на неудачи своихъ предшественниковъ, все еще не теряетъ надежды завершить его при помощи новыхъ пріемовъ строительства,—изъ глубины Россіи, которая если и участвовала въ культурной работѣ вѣка, то далеко не съ тѣмъ напряженіемъ, какъ западная Европа, и далеко не всѣми своими силами, раздается смѣлый и увѣренный голосъ, говорящій: пусть даже достроится зданіе цивилизаціи, пусть человѣкъ вполнѣ и безъ границъ овладѣетъ внѣшнимъ міромъ для удовлетворенія своихъ потребностей, пусть общественное устройство человѣчества приблизится къ состоянію идеальной справедливости, — человѣкъ все-таки

не будетъ счастливъ и не перестанетъ страдать, не перестанетъ потому, что водворившееся спокойствіе, довольство и безопасность неспособны удовлетворить неистребимыхъ потребностей человѣческаго духа. Эти потребности вполне самостоятельны и незамѣнимы: съ удовлетвореніемъ прочихъ требованій человѣческаго организма, онѣ не только не прекращаются и не ослабѣваютъ, но, скорѣе, усиливаются. По самой же природѣ своей онѣ не допускаютъ удовлетворенія изъ внѣшняго міра, а могутъ быть утолены только продуктами духовной дѣятельности, только путемъ разработки внутренней личности человѣка. Между тѣмъ, практическій девятнадцатый вѣкъ не откликнулся на эти запросы духа и, богатый матеріально, ничего не можетъ предложить духовной жаждѣ человѣка. Увлеченный кипучею и трудною работою соціального устройства, весь отдавшійся политической идеѣ, этотъ вѣкъ забылъ живую конкретную личность. Этотъ вѣкъ называютъ, правда, вѣкомъ индивидуализма, вѣкомъ личной свободы, но индивидуализмъ его только политическій, личность для него только абстрактный принципъ, сообразно которому должно быть построено государство. Являясь вообще эпохою внѣшней дѣятельности, эпохой активного приспособленія жизни, девятнадцатый вѣкъ въ частности можетъ быть названъ эпохою политической. Политическіе задачи и вопросы всего болѣе занимали его мысль и возбуждали его страсти; попытки осуществленія политическихъ идеаловъ создали самыя крупныя, самыя значительныя его событія. По-



литическая идея властвовала надъ сознаниѣмъ чело-  
вѣка и подчинила себѣ всѣ сферы его умственной  
дѣятельности: къ политикѣ пришла господствующая  
философія вѣка, поставившая на вершинѣ научной  
іерархіи соціологію; проникла политическая струя и  
въ поэзію и заставила ее сдѣлаться выразительни-  
цей политическихъ идеаловъ, симпатій и негодова-  
ній; наконецъ, даже этика, и та бѣжала изъ вну-  
тренняго міра челоѡка и въ характерной формѣ ути-  
литаризма опять-таки требовала служенія обществу.  
Политика сдѣлалась для многихъ людей дѣломъ всей  
ихъ жизни, группировала ихъ въ партіи, разрывала  
старинныя, кровныя узы, устанавливала новыя свя-  
зи. Словомъ, если-бы мы разсматривали девятнадца-  
тый вѣкъ какъ художественное произведеніе, то мог-  
ли-бы сказать, что его паѡсъ — въ политикѣ, что  
политика обнимаетъ трагедію вѣка.

Читатель, конечно, уже догадался, что упомяну-  
тый нами голосъ, раздавшійся протестомъ противъ  
односторонняго направленія нашего вѣка, принадле-  
жить графу Л. Толстому. Въ его лицѣ судьба какъ-  
бы нарочно хотѣла произвести экспериментъ само-  
стоятельности и живучести духовныхъ потребностей  
челоѡка. По собственнымъ словамъ графа, которыя  
нисколько не противорѣчатъ тому, что извѣстно о  
его личной жизни, онъ пользовался матеріальнымъ  
достаткомъ, хорошимъ здоровьемъ, имѣлъ прекрас-  
ную семью; кромѣ того, онъ имѣлъ славу, рѣдкую  
славу первокласснаго художника, пользовался все-  
общимъ уваженіемъ и несмотря на это, онъ не былъ

счастливы, онъ мучительно страдалъ отъ неразрѣшенныхъ вопросовъ жизни, отъ невозможности удовлетворить своимъ духовнымъ потребностямъ. «За-чѣмъ мнѣ жить, зачѣмъ что-нибудь желать, зачѣмъ что-нибудь дѣлать?» Что выйдетъ изъ того, что я дѣлаю нынче, что буду дѣлать завтра, — что выйдетъ изъ всей моей жизни? Есть-ли въ этой жизни такой смыслъ, который не уничтожился-бы неизбежно предстоящею мнѣ смертью?» Вотъ какой вопросъ ставило передъ нимъ сознание и неотступно требовало отвѣта, вымогая его страшною тоскою и тѣмъ ощущеніемъ пустоты и ненужности жизни, отъ котораго хочется избавиться хотя-бы путемъ самоубійства. Отвѣтъ на вопросъ, или смерть—къ такой дилеммѣ свелась внутренняя жизнь автора «Исповѣди»: иначе нельзя уйти отъ вопроса, такъ какъ нельзя перестать сознавать то, что сознаешь.

Часто приходится слышать, что поставленный графомъ Толстымъ вопросъ есть вопросъ праздный, что трудность его разрѣшенія можетъ терзать только людей, непокорныхъ общему закону труда, незнающихъ куда дѣвать свой обезпеченный досугъ, и что всѣ эти терзанія совершенно чужды тому, кто долженъ зарабатывать себѣ «хлѣбъ насущный». Мы не можемъ не отмѣтить здѣсь, что подобное отношеніе къ вопросу въ дѣйствительности встрѣчается чаще всего у людей практическихъ, много трудящихся, мысль которыхъ постоянно прикована къ какому-нибудь специальному дѣлу и потому недоступна для прочихъ вопросовъ человѣческаго сознанія. Уже одно

это даетъ основаніе предполагать, что люди эти— плохіе судьи въ вопросѣ, имѣвшемъ такое трагическое значеніе для гр. Толстого. По существу-же мнѣніе ихъ не только не отрицаетъ возможности такого вопроса, но даже нисколько не уменьшаетъ его значенія. Вѣдь одно изъ двухъ: или обязательный трудъ не допускаетъ въ сознаніе этотъ вопросъ, такъ сказать, вытѣсняетъ его изъ мысли человѣка, или трудящійся не терзается этимъ вопросомъ потому, что въ самомъ трудѣ находитъ отвѣтъ на него, удовлетвореніе своихъ душевныхъ стремленій. Но первый случай вовсе не исключаетъ возможности появленія этого вопроса у всякаго человѣка, разъ только облегчено будетъ его положеніе, и доказываетъ лишь то, что постоянно-трудовая жизнь не даетъ человѣку возможности развить всю полноту своей личности и подавляетъ въ немъ много духовныхъ потенцій; второй-же—прямо предполагаетъ вопросъ и вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ и отвѣтъ на него. Слѣдовательно, во всемъ этомъ возраженіи нѣтъ ни одного аргумента противъ общечеловѣческаго значенія поднятаго гр. Толстымъ вопроса. За такое-же его значеніе говорятъ какъ его элементарность и психологическая необходимость, такъ и историческіе факты, показывающіе, что съ тѣхъ поръ, какъ человѣчество помнитъ себя, оно знаетъ и этотъ вопросъ. Религіи, начало которыхъ теряется во мракѣ времени, представляются въ сущности ничѣмъ инымъ, какъ отвѣтомъ на него.

Оказывается, слѣдовательно, что графъ Толстой поднималъ старый, лучше сказать, вѣчный вопросъ

въ которомъ нѣтъ ничего существенно новаго, оригинальнаго. Оригинально только самое возбужденіе, самая постановка вопроса въ то время, когда кругомъ считали его давно порѣшеннымъ и о немъ не думали (кромѣ небольшой группы несолидарныхъ съ вѣкомъ людей). Возбужденіе этого вопроса характеризуетъ графа, какъ умъ въ высшей степени самостоятельный и глубоко скептическій. Независимые, пытливые, чуждые пассивной воспріимчивости, лишенные способности видѣть истину въ господствующемъ въ ихъ время мнѣніи, эти умы бываютъ обыкновенно поворотными точками въ исторіи умственной жизни человѣчества. Мы уже видѣли, что современное графу Толстому человѣчество представляло какъ-бы гигантскій муравейникъ, гдѣ каждый муравей считалъ своимъ долгомъ и своимъ назначеніемъ стремиться къ усовершенствованію цѣлой кучи и въ этомъ усовершенствованіи видѣлъ достаточную цѣль и своей личной жизни. Очевидно, что такое представленіе цѣли и смысла жизни могло удовлетворять человѣка только до тѣхъ поръ, пока онъ въ него вѣровалъ, пока относился къ нему наивно, некритически; при первомъ-же прикосновеніи испытующей мысли, представленіе это необходимо разваливалось, такъ какъ въ немъ въ сущности нѣтъ никакого отвѣта на вопросъ о цѣли жизни, а только перестановка, перифразъ самаго вопроса, который теперь являлся въ формулѣ: зачѣмъ мнѣ содѣйствовать благосостоянію и развитію человѣчества, когда смерть неизбежно оторветъ меня отъ этого человѣчества, и

я перестану быть чѣмъ либо для него, оно — для меня. Не удовлетворило это вѣрованіе вѣка и графа Толстого. Въ своемъ скептицизмѣ онъ не могъ остановиться на полдорогѣ и продолжалъ искать отвѣта на свое: зачѣмъ? «Зачѣмъ жить, искать чего-либо, что-нибудь дѣлать, когда не нынче-завтра придутъ болѣзни и смерть, и ничего не останется кромѣ смирада и червей»...

Гдѣ-же искать отвѣта на этотъ вопросъ? Графъ Толстой прежде всего обратился къ знанію, и въ наукѣ, въ этой гордости современнаго человѣка, искалъ объясненій на вѣчные вопросы жизни. Но, ознакомившись съ ея характеромъ, графъ пришелъ къ мысли, что наука не можетъ дать отвѣта на поставленный вопросъ. Этотъ тезисъ не заключаетъ въ себѣ ничего неожиданнаго, противъ него едва-ли кто-либо будетъ спорить въ наше время; но тезисъ этотъ въ высшей степени характеренъ для переживаемой нами эпохи и ведетъ современную мысль ко многимъ весьма важнымъ выводамъ. Этимъ-же тезисомъ обусловлены и дальнѣйшіе выводы графа. Придя къ убѣжденію, что наука, вообще разумъ неспособенъ разрѣшить основныхъ вопросовъ человѣческаго сознанія, и зная, однако, что вопросы эти разрѣшались въ исторіи, графъ Толстой сталъ искать другого источника ихъ разрѣшенія и нашелъ его — *въ* *свѣтъ*. Въ этомъ словѣ—центръ тяжести всей философіи автора «Исповѣди», въ этомъ словѣ—то новое, что привлекло къ ней вниманіе общества. Привычная намъ, господствовавшая въ девятнадцатомъ сто-

лѣтіи, раціоналистическая философія раскалывала человѣческую личность и провозглашала верховенство одного ея элемента—разуму. Всю сферу сознательной жизни человѣка она подчиняла разуму и въ немъ видѣла единственное средство для удовлетворенія всѣхъ духовныхъ потребностей. Она признавала за истину только то, что можно было доказать изъ разума, что допускало логическую повѣрку. Усомнившись въ универсальномъ значеніи разума, графъ Толстой обратился къ другой способности человѣка, никогда собственно не перестававшей въ немъ дѣйствовать, но забытой теоретиками и мыслителями. Для истины онъ требовалъ не логическаго основанія, а той внутренней ея силы, которая удовлетворяетъ живого человѣка. Въ дѣйствительности человѣкъ сплошь и рядомъ живетъ не тѣми идеями и правилами, которыя можетъ разумно доказать, а тѣми, въ которыя онъ вѣритъ, которыя признаетъ интуитивно и сообразно которымъ обыкновенно дѣйствуетъ. Эту-то практическую способность Толстой возводитъ въ основной принципъ своего ученія. «Вѣруй и спасенъ будешь» — говоритъ онъ.

Но вѣра спасетъ только дѣйствительно вѣрующаго, а не того, кто лишь сознаетъ ея спасительную силу. Философія-же Толстого, какъ намъ кажется, способна привести именно къ этому послѣднему результату. Она прекрасно раскрываетъ значеніе вѣры, но не даетъ ей дѣйствительнаго содержанія. Она возбуждаетъ желаніе, жажду вѣры, но въ ней не во что вѣрить. Авторъ «Исповѣди» говоритъ, что онъ принялъ вѣру

народа, принявъ христіанство, но вѣра эта не сообщается читателю,—не сообщается, быть можетъ, потому, что для увлеченія въ вѣру нужны фанатики, пророки, «глаголомъ жгущіе сердца людей»; въ лицѣ же графа Толстого передъ нами всегда человѣкъ анализа, всегда скептикъ. Вѣрить просто, какъ вѣрить народъ и дѣти, графъ не можетъ; онъ не можетъ не относиться критически, а потому не могъ принять и всего ученія вѣры, со всѣми его атрибутами. Самое евангеліе графъ въ сущности не проповѣдуетъ, а *доказываетъ*, и, что въ высшей степени характерно, доказываетъ значеніемъ его для земной жизни, для земного счастья чловѣка (См. въ особенности: «Въ чемъ счастье?»).

Въ концѣ концовъ оказывается, что вѣра и христіанскія истины необходимы чловѣку потому, что ими обусловливается самое совершенное, самое глубокое, самое чловѣчное счастье.

А что-же основной вопросъ о смыслѣ жизни? Развѣ теперь мы не можемъ спросить: зачѣмъ это высокое счастье, когда завтра придетъ смерть и унесетъ меня въ бездну небытія? На этотъ вопросъ философія графа Толстого опредѣленно не отвѣчаетъ. Чловѣкъ девятнадцатаго столѣтія не умеръ въ немъ...

Обращаясь къ этой связи философіи гр. Толстого съ умственнымъ движеніемъ вѣка, мы не можемъ не отмѣтить того значенія, которое имѣлъ для нея позитивизмъ. Позитивная философія, какъ извѣстно, признала полную несостоятельность и безсиліе чловѣческаго разума въ вопросахъ о конечныхъ цѣляхъ

и причинахъ и, отмежевавъ себѣ область реальныхъ явленій, вовсе перестала заниматься этими метафизическими, по ея терминологіи, вопросами. Такимъ образомъ приведенный выше тезисъ графа Толстого, что наука не можетъ объяснить смысла и цѣли жизни,—этотъ тезисъ былъ подготовленъ работою позитивной мысли. А потому и вытекающее изъ этого тезиса исканіе новыхъ источниковъ истины также было обусловлено началами позитивной философіи. Прежде чѣмъ искать этихъ новыхъ источниковъ, человечеству необходимо было изжить свою вѣру въ разумъ, который до появленія позитивизма не переставалъ дѣлать попытки къ разрѣшенію всѣхъ вопросовъ духа и въ качествѣ такихъ попытокъ оставилъ намъ много великолѣпно построенныхъ философскихъ системъ.

Но если фаза позитивнаго направленія человеческой мысли должна была предшествовать идеямъ гр. Толстого, то самыя идеи его далеко не укладываются въ рамки позитивизма. Въ то время, какъ адепты позитивной школы все еще признавали разумъ и его методы единственными путями къ истинѣ и, ограничивъ его значеніе, счумѣли какимъ-то непостижимымъ образомъ вовсе отказаться отъ тѣхъ вопросовъ, на которые онъ не могъ отвѣчать, и успокоились на разрѣшеніи относительныхъ и ограниченныхъ проблеммъ знанія, — въ это время графъ Толстой не переставалъ стремиться къ рѣшенію вѣчныхъ вопросовъ жизни, и разувѣрившись въ старомъ рациональномъ пути, сталъ на новый путь—



путь вѣры. Съ другой стороны, связь вѣка съ гр. Толстымъ проявляется въ указанной уже нами особенностях его философіи, которая заставляетъ видѣть въ немъ прежде всего не вѣрующаго въ опредѣленные догматы, а *теоретика* вѣры, утверждающаго принципъ вѣры для человѣческой жизни. Эти-то черты, сближающія гр. Толстого съ его временемъ, и дѣлають его родственнымъ намъ и обуславливають то вліяніе, которымъ онъ пользуется.

Французскій критикъ де-Вогюзъ, въ своей статьѣ о гр. Толстомъ (*Les écrivains russes contemporains. Revue des deux Mondes*, 15 juillet 1884), говоритъ, что западный человѣкъ, какимъ критикъ несомнѣнно считаетъ и себя, не найдетъ въ философіи графа «оригинальной мысли; онъ увидитъ въ ней только первый лепетъ раціонализма, старую мечту о мелленіумѣ, преданіе, постоянно возобновлявшееся съ начала среднихъ вѣковъ — у вальденцовъ, доллардовъ, анабаптистовъ», и затѣмъ восклицаетъ: «Счастливая Россія—для нея еще новы эти прекрасныя фантазіи!»—Этотъ взглядъ почтеннаго критика мы считаемъ глубоко ошибочнымъ. Философія графа Толстого, какъ мы старались показать, есть органическій продуктъ девятнадцатаго вѣка, который вовсе не безслѣдно прошелъ для Россіи, какъ думаетъ критикъ. Философія эта—не «первый лепетъ раціонализма», а напротивъ, реакція цѣльной человѣческой личности противъ исключительнаго господства разума, противъ исключительно внѣшняго направленія человѣческой дѣятельности, и если признаки раціонализма дѣйстви-

тельно присущи этой философiи, то не потому, что она есть пробужденіе раціонализма, какъ это было въ средніе вѣка, а потому, что авторъ ея не могъ избавиться отъ нихъ, какъ сынъ своего вѣка. И если Россіи дѣйствительно суждены какія-либо «прекрасныя фантазіи», то, послѣ всего пережитаго, фантазіи эти не могутъ быть простымъ повтореніемъ старыхъ иллюзій...

Какъ видитъ читатель, мы не имѣли въ виду разбирать самое *содержаніе* философскихъ произведеній гр. Толстого; мы хотѣли только охарактеризовать его какъ интересное явленіе русскаго духа. Впослѣдствіи мы вернемся къ этимъ произведеніямъ; теперь - же рассмотримъ, въ какомъ отношеніи стоятъ они къ *художественной* дѣятельности гр. Толстого.

---

## II.

### Общая характеристика художественного творчества графа Толстого.

Говоря о позднѣйшихъ нравственно-философскихъ произведеніяхъ графа Л. Н. Толстого, мы признали въ немъ представителя того новаго въ девятнадцатомъ столѣтіи направленія мысли, которое, минуя политическіе интересы и злобы, отправляется отъ конкретной человѣческой личности и ищетъ отвѣта на неизбежные, вѣчные вопросы сознанія, — тѣ вопросы, въ которыхъ скрывается смыслъ человѣческой жизни. Останавливаясь теперь передъ тѣмъ, что создалъ графъ Толстой какъ художникъ, и желая опредѣлить общій характеръ и значеніе его художественнаго творчества, мы естественно приходимъ къ вопросу объ отношеніи, существующемъ между двумя различными элементами дѣятельности знаменитаго писателя — философскимъ и художественнымъ. Являются-ли философскія произведенія гр. Л. Н. Толстого съ ихъ характернымъ содержаніемъ чѣмъ-то неожиданнымъ въ литературной карье-

рѣ давно знакомаго намъ художника,—чужды-ли они той умственной фizioноміи писателя, которая выступаетъ передъ нами изъ его художественныхъ созданій, оторвался-ли онъ отъ своего духовнаго прошлаго, вступивъ на новый путь дѣятельности, какъ думаютъ многіе, или, напротивъ, не проникнуты-ли художественныя концепціи и философскія проблемы нашего автора тѣмъ внутреннимъ единствомъ, которое позволило-бы видѣть въ нихъ произведенія одной и той-же вѣрной себѣ личности, не существуетъ-ли даже извѣстной преемственной связи между поэтическимъ творчествомъ и философскими исканіями графа Толстого (это мнѣніе также было высказано въ нашей литературѣ)—вотъ вопросъ, на который мы постараемся отвѣтить прежде всего. Мы начинаемъ съ этого вопроса характеристику художественнаго творчества Л. Н. Толстого еще и по соображеніямъ логической цѣлесообразности. Дѣло въ томъ, что признакъ, которымъ мы опредѣлили характеръ философскихъ воззрѣній гр. Толстого, въ высшей степени удобопримѣнимъ и къ художественнымъ произведеніямъ и по значенію своему способенъ стать основаніемъ едва-ли не самой общей и широкой ихъ классификаціи.

Поэзія или словесное творчество отъ начала своего возникновенія и понынѣ тяготѣла всегда къ двумъ различнымъ центрамъ, направлялась двумя различными интересами — интересомъ къ внѣшнему міру и его явленіямъ и интересомъ къ содержанію внутренней жизни человѣка. Это дѣленіе на первый

взглядъ кажется тождественнымъ съ общепринятымъ въ курсахъ эстетики дѣленіемъ поэзіи на эпическую и лирическую. Однако, принять это тождество было-бы ошибочно. Дѣленіе поэзіи на эпическую и лирическую есть дѣленіе формальное, основанное исключительно на формѣ поэтическихъ произведеній. Поэтому оно, во-первыхъ, не обнимаетъ всей сферы поэзіи и останавливается у границъ третьяго рода поэтического творчества—драмы, и, во-вторыхъ, относитъ къ лирикѣ лишь тѣ произведенія, гдѣ нѣтъ объективнаго изображенія жизни, гдѣ авторъ говоритъ отъ своего собственнаго лица; все-же прочее, какихъ-бы глубинъ внутренней жизни оно ни касалось, обнимается въ понятіи эпоса. Намѣченная-же нами классификація основывается на *содержаніи* произведенія, на мотивѣ творчества, на точкѣ зрѣнія художника. Поэтому она обнимаетъ всѣ произведенія изящнаго слова, не исключая и драмы, которая можетъ разрабатывать и чисто психологическій сюжетъ, а можетъ также воспроизводить и различіе бытовыхъ типовъ. Въ этомъ отношеніи интересно сравнить, напр., трагедіи Шекспира, раскрывающаго намъ тайны человѣческаго духа, и комедіи или драмы Островскаго, рисующаго бытъ московскаго купечества. Но если Шекспиръ и Островскій сравнительно легко распредѣляются по разнымъ категоріямъ предлагаемой классификаціи, то нельзя сказать, чтобы операція эта вообще была легко выполняема; относительно-же нѣкоторыхъ писателей она представляетъ, какъ и всякая классификація, весьма

значительныя трудности. Трудности эти зависятъ, главнымъ образомъ, отъ того, что жизнь человѣка—этотъ неизмѣнный предметъ поэзіи—есть соединеніе элементовъ внутренняго и внѣшняго: человѣкъ не живетъ только внутреннею жизнью, только идеями и настроеніями, но необходимо принадлежитъ и внѣшнему міру, необходимо занимаетъ въ немъ определенное мѣсто и своими дѣйствіями и отношеніями къ природѣ и людямъ необходимо создаетъ извѣстную форму своей жизни; съ другой стороны—внѣшняя оболочка жизни, явленія и формы человѣческаго быта возникли не сами собой изъ внѣшняго міра, существуютъ и развиваются не изъ самихъ себя, не дѣйствіемъ постороннихъ человѣку силъ природы, но суть продукты и проявленія духовной дѣятельности человѣка. Изображая дѣйствительность человѣческой жизни, поэзія естественно беретъ ее во всемъ ея составѣ, съ ея тѣлесными формами и внутреннимъ содержаніемъ, и еслибы мы должны были основывать нашу классификацію поэтическихъ произведеній на исключительномъ присутствіи какого-либо одного изъ указанныхъ элементовъ, наша задача была-бы совершенно невыполнима. Полнаго раздѣленія этихъ элементовъ не существуетъ ни въ одномъ произведеніи (кромѣ чисто лирическихъ пьесъ, о которыхъ мы здѣсь не говоримъ, такъ какъ имѣемъ въ виду только объективное творчество), и только въ весьма немногихъ—художественный анализъ, очищая избранный сюжетъ отъ всего посторонняго, дѣлаетъ очевиднымъ несомнѣнное преобладаніе того или другого элемента.

Такія внутреннія драмы человѣческаго духа, какъ «Фаустъ» Гете, «Прометей» Эсхила и т. под., не вызываютъ, конечно, разногласія при ихъ классификаціи, какъ не вызовутъ его съ другой стороны произведенія общественной сатиры съ ихъ «Разуваевыми», «Помпадурами», «Прокопами», «Дыбами» и т. д. Но какъ быть передъ другими произведеніями, какъ быть передъ реальнымъ романомъ, передъ современною комедіею, гдѣ нераздѣльно слиты моменты внутренней и внѣшней жизни? Здѣсь необходима уже строгая и правильная постановка вопроса о классификаціи, необходимо точное опредѣленіе ея основанія. Основаніемъ этимъ остается все та-же указанная нами уже принадлежность произведенія внутреннему или внѣшнему міру, средствомъ-же распознаванія этой принадлежности должна быть творческая идея художника, замыселъ, воплотившійся въ данномъ произведеніи, та точка зрѣнія, съ которой смотрѣлъ художникъ на жизнь въ моментъ творчества. Стремился-ли онъ показать намъ содержаніе душевной жизни человѣка, раскрыть судьбу и законы его страстей и желаній, или его интересовала та или другая форма быта, складъ жизни семейной и общественной, существующей въ извѣстномъ мѣстѣ, характерный для извѣстнаго времени и народа—вотъ что должно рѣшать вопросъ о принадлежности даннаго произведенія къ той или другой категоріи указанной системы. Съ такимъ критеріемъ мы не ошибемся уже въ опредѣленіи характера художественнаго произведенія, какъ-бы ни переплетались въ немъ

элементы внѣшней жизни съ внутренними состояніями человѣческой души. Возьмемъ, на примѣръ, произведенія Достоевскаго и Тургенева, характеристика которыхъ съ указанной точки зрѣнія представляетъ, быть можетъ, наиболѣе трудностей. Но несмотря на всѣ эти трудности, мы имѣемъ однако полную возможность раздѣлить съ помощью найденнаго критерія всѣ произведенія этихъ писателей на двѣ группы. Такіе романы Достоевскаго, какъ «Идіотъ», «Преступленіе и наказаніе», «Подростокъ» и рядомъ съ ними такія Тургеневскія повѣсти, рассказы и новеллы, какъ «Пѣснь торжествующей любви», «Фаустъ», «Вешнія воды», «Лишній человѣкъ», отойдутъ въ одну группу произведеній съ психологической концепціей; между тѣмъ какъ «Бѣсы» и «Братья Карамазовы» Достоевскаго и всѣ крупныя произведенія Тургенева, его «Рудинъ», «Наканунъ», «Дворянское гнѣздо», «Отцы и дѣти», «Дымъ» «Новь» — все это запечатлѣно уже другимъ характеромъ, характеромъ произведеній, стремящихся представить извѣстную общественную эпоху, создать типы человѣческой жизни, являющіеся намъ въ потокѣ времени и исчезающіе съ его уходящими волнами. Этой характеристикѣ доступны не только отдѣльныя художественныя произведенія, но и самая личность художника. Всякій писатель непременно тяготеетъ своими интересами или къ внутренней жизни личности, или къ явленіямъ и возможностямъ соціальнаго порядка. Такъ и изъ названныхъ нами художниковъ — Достоевскаго непрестанно манять вершины



и бездны человѣческаго духа, и это стремленіе въ немъ настолько сильно и постоянно, что онъ не можетъ удержаться въ предѣлахъ какой-либо соціальной темы и уходитъ всегда изъ рамокъ бытовой картины въ глубину психологическаго анализа. Въ Тургеневѣ—другая складка: его интересуется преимущественно не самъ по себѣ человѣкъ, не тѣ характеры и положенія, въ которыхъ всего разительнѣе и ярче проявились-бы основныя силы его психической природы, но та культурная атмосфера, тѣ умственные, идейныя теченія въ человѣческихъ обществахъ, которыя смѣняются едва-ли не съ каждымъ поколѣніемъ и которыя направляютъ сознательную дѣятельность человѣка.

Если мы обратимся теперь къ графу Толстому, то увидимъ, что все его творчество насквозь проникнуто неизмѣннымъ и напряженнымъ интересомъ къ человѣку, къ его личной жизни. Каждое произведеніе его раскрываетъ намъ что-либо изъ этой жизни. Повѣсть «Дѣтство, отрочество, юность» показываетъ намъ послѣдовательныя фазы жизни растущаго и развивающагося человѣка, схватываетъ своеобразную психологію каждаго возраста; «Севастопольскіе и кавказскіе рассказы» изображаютъ судьбу человѣка на войнѣ; романъ «Семейное счастье» показываетъ неизбѣжный исходъ идеализированной любви, разрѣшившейся бракомъ; «Анна Каренина»—неумолимую Немезиду за торжество любви, поправшей всѣ человѣческія обязанности. Словомъ, вездѣ авторъ слѣдитъ за судьбою отдѣльной личности, интересуется вопро-

сомъ: какъ живетъ на землѣ человѣку? и никогда не занимается социальными темами. Сомнѣніе можетъ возбудить только «Война и миръ». Историческая основа этого романа и необыкновенно широкій захватъ его часто заставляютъ видѣть въ немъ картину народныхъ движеній, заставляютъ искать его смысла, его основной идеи въ изображеніи этихъ великихъ событій, въ объясненіи того внутренняго механизма, дѣйствіемъ котораго они образовались. Совершенно соглашаясь съ тѣмъ, что романъ дѣйствительно развертывается передъ нами широкую панораму народной жизни, не отрицая и того, что въ его художественномъ изображеніи намъ не разъ представляется съ поразительною правдою реальный процессъ историческихъ событій, мы все-же склоняемся къ мнѣнію, что центръ творческаго интереса при созданіи «Войны и мира» лежалъ въ личной, а не въ исторической или общественной жизни, и что постоянною думою автора-художника былъ не вопросъ о причинахъ изображаемыхъ событій, но мысль о томъ, какъ чувствуетъ и сознаетъ себя человѣческая личность во всѣхъ тѣхъ разнообразныхъ положеніяхъ, которыя такъ или иначе связаны были съ этими событіями. Иначе нельзя объяснить того постоянного, подробнаго и тщательнаго анализа, которому неизбѣжно подвергается душевный міръ всякаго изъ дѣйствующихъ лицъ романа.

Но открывая въ творествѣ графа Л. Н. Толстого, какъ неизмѣнный мотивъ его, интересъ къ внутренней жизни человѣка, характеризуя самого авто-

ра, какъ художника-психолога, мы не можемъ не замѣтить, что произведенія его весьма во многомъ и весьма рѣзко отличаются отъ чисто-психологическихъ концепцій. Послѣднія всегда отвлеченны и самоцѣльны. Художественное осуществленіе ихъ даетъ намъ, такъ сказать, анатомо-психологическіе препараты. Наблюдая жизнь человѣческаго духа, поэтъ этого склада выдѣляетъ обыкновенно изъ сложнаго организма души какую-либо способность, страсть, или чувство, и въ изображеніи природы, силы и движенія этой страсти или чувства видитъ свою задачу. Міръ человѣческаго духа настолько увлекаетъ его своими тайнами и необъяснимою произвольностью своего содержанія, что задача раскрыть эти тайны, схватить что-либо изъ содержанія духа естественно представляется для такого реалиста-психолога самостоятельною и высшею цѣлью творчества. Возьмите типичнѣйшаго и величайшаго изъ художниковъ-психологовъ—возьмите Шекспира и посмотрите на созданные имъ образы. Что такое его Гамлетъ, Ромео, Отелло, Макбетъ, Брутъ или Антоній—что такое всѣ эти герои какъ не представители различныхъ психологическихъ возможностей, какъ не воплощеніе разсеченныхъ художникомъ элементовъ духа въ соотвѣтствующіе человѣческіе характеры? Въ качествѣ такихъ элементовъ, въ качествѣ основаній, для своихъ характеровъ Шекспиръ бралъ всегда отдѣльныя способности человѣческой души—рефлексію, любовь къ женщинѣ, ревность, властолюбіе, нравственный стоицизмъ, жажду наслажденія—и завязывая и разрѣ-

шая свои драмы и трагедіи дѣйствіемъ той или другой изъ этихъ способностей и страстей, раскрывалъ законы ихъ возникновенія и развитія, обнаруживалъ ихъ вліяніе и значеніе въ жизни человѣка. Не то у графа Толстого. Надъ интересомъ къ отдѣльнымъ явленіямъ психической сферы у него преобладаетъ интересъ къ жизни въ ея цѣломъ, къ судьбѣ человека, къ жребію его на землѣ. Поэтому героемъ всѣхъ его произведеній является человѣкъ,—человѣкъ болѣе реальный, болѣе полный, чѣмъ тѣ психологическія абстракціи, къ созданію которыхъ приходятъ художники, специально разрабатывающіе міръ человѣческаго духа. Поэтому въ произведеніяхъ своихъ онъ старается исчерпать не содержаніе этого духа, но содержаніе жизни, не разнообразіе человѣческихъ характеровъ, но разнообразіе жизненныхъ положеній. У представителей чисто-психологическаго интереса на первомъ планѣ—характеры, положенія-же—только какъ результатъ борьбы этихъ характеровъ, какъ средство обнаружить ихъ сущность и значеніе; у гр. Толстого главная задача—постигнуть ту своеобразную и необходимую комбинацію положеній, которая составляетъ жизнь человѣка,—тотъ фатумъ, которому онъ подчиненъ в теченіе всего своего существованія. Въ его созданіяхъ мы не найдемъ вполне цѣльныхъ характеровъ, не найдемъ чистыхъ психологическихъ типовъ; зато ни одинъ писатель (кроме древне-греческихъ классиковъ, стремящихся раскрыть предназначенную человѣку судьбу) не захватываетъ жизнь человѣка такъ широко, не проводитъ своихъ

героевъ черезъ столько разнообразныхъ положеній, не слѣдить за ними такъ долго и такъ упорно, какъ графъ Толстой. Дочитывая его романы и повѣсти, не испытываешь того неудовлетвореннаго чувства, которое невольно является у васъ напр. на послѣдней страницѣ произведеній Тургенева, имѣющаго обыкновеніе опускать занавѣсъ надъ неоконченною и иногда даже не опредѣлившееся жизнью своихъ героевъ, лишь только минуетъ поэтический моментъ ея. У Толстого нѣтъ мѣста вопросу: что-же дальше? Съ окончаніемъ произведенія кончается и изображаемая имъ жизнь, или по крайней мѣрѣ доводится до состоянія той ясности и опредѣленности, которая уже не возбуждаетъ вопросовъ. Припомните его персонажи—Анну Каренину, Вронскаго, Кити, Левина, брата его Николая, Кознышева, Болконскаго, его жену, Ростова, Наташу, Пьера, героевъ «Семейнаго счастья», героевъ Севастополя и кавказскихъ походовъ; всѣ эти лица, конечно, въ высшей степени характерны и индивидуальны, но это во всякомъ случаѣ не тѣ отлитыя изъ одного металла фигуры, какими представляются намъ Отелло и Макбетъ Шекспира, или даже Идіотъ и Иванъ Карамазовъ Достоевскаго. Съ другой стороны, какъ подробно рассказана намъ судьба всѣхъ этихъ людей! Въ жизни ихъ авторъ не оставилъ ни одной тайны, не оставилъ ничего недосказаннаго. Стремясь къ изображенію правды этой жизни, онъ не боится и не избѣгаетъ никакихъ изъ ея проявленій, какъ-бы они ни были обидны и разрушительны для взлелеянныхъ

человѣкомъ идеаловъ, для тѣхъ иллюзій, съ которыми онъ не можетъ разстаться и которыми тѣшится въ своемъ стыдливомъ полунезнаніи. Драпировать жизнь, завѣшивать ея страшный и подчасъ отвратительный остовъ красивыми покрывами—графъ Толстой не могъ никогда; напротивъ, ему гораздо больше улыбалась задача сорвать тѣ уборы и пестрыя тряпки, въ которыя закутало человѣчество свою жизнь, и показать ее во всей ея наготѣ и правдѣ. Въ этомъ смыслѣ его не безъ основанія называютъ пессимистомъ и отрицателемъ. «Не обманывать себя чело-вѣку—не жить ему на землѣ», сказалъ гдѣ-то Тургеневъ, этотъ великій мастеръ въ изображеніи тѣхъ очарованій и иллюзій, которыми красна наша бѣдная жизнь. Другой поэтъ о томъ-же предметѣ выразился еще сильнѣе въ извѣстномъ стихотворномъ афоризмѣ: «Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже насъ возвышающій обманъ». И вотъ эти-то «возвышающіе обманы» беспощадно разоблачаетъ въ своихъ произведеніяхъ графъ Толстой.

Смѣлыми и необыкновенно-правдивыми картинами человѣческихъ битвъ и сраженій онъ разсѣваетъ тотъ сотканный изъ славы и доблести ореолъ величія, которымъ, точно какимъ-то таинственнымъ нимбомъ, была окружена въ глазахъ всѣхъ народовъ война. Въ исторіи Наташи («Война и Миръ») и Кити («Анна Каренина») разрушаетъ онъ иллюзію красоты и поэтической прелести дѣвственнаго образа, погружая каждую изъ нихъ въ прозу семейной жизни съ неизбѣжными заботами объ обѣдѣ, о купаніи и целе-

наніи дѣтей и т. п. Въ трагической кончинѣ Анны Карениной разлетается иллюзія вѣчной страсти. Въ «Семейномъ счастьи» постепенно блекнетъ и отцвѣтаетъ поэзія супружеской любви. Въ образѣ Кознышева подвергается сомнѣнію источникъ общественныхъ стремленій человѣка. Въ «Холстомѣрѣ» съ неподражаемою художественностью, правдою и послѣдовательностью проведена зоологическая точка зрѣнія на человѣка, подкапывающаяся подъ великій обманъ его исключительнаго достоинства и призванія на землѣ.

Оставимъ, однако, пока въ сторонѣ пессимизмъ гр. Толстого и возвратимся къ указанной выше отличительной чертѣ его творчества—интересу къ судьбѣ, къ долѣ человѣка. Въ связи съ этою чертою стоятъ еще двѣ выдающіяся особенности творческой манеры Толстого: это, во-первыхъ, замѣчательная объективность или безстрастная ясность его изображеній, и во-вторыхъ — реалистическій характеръ его творчества.

Что касается первой изъ этихъ особенностей, то она свойственна произведеніямъ графа Толстого въ высшей степени, въ той степени, которую превосходитъ изъ всѣхъ поэтовъ развѣ одинъ Гете, да и то лишь въ немногихъ своихъ созданіяхъ. Впрочемъ, это сравненіе съ Гете нельзя назвать вполне подходящимъ: оно немедленно требуетъ оговорки. Если графъ Толстой въ своемъ творествѣ и не поднимался никогда до олимпійскихъ высотъ спокойствія и выдержанности формы, на которыхъ подолгу си-

живаль Гете, то все-же его нельзя поставить — съ точки зрѣнія объективности творчества — ступенью ниже нѣмецкаго поэта, нельзя потому, что сферы ихъ творчества различны, объекты ихъ созерцанія разнородны. Произведенія Гете, отличающіяся наибольшимъ спокойствіемъ, пластичностью и объективностью—напр. его «Германъ и Доротея»—строго выдержаны въ классически-эпическомъ родѣ, въ которомъ замѣтны развѣ лишь слабые намеки на психологическій анализъ, тогда какъ у нашего романиста этотъ анализъ является едвали не главнѣйшимъ приемомъ творчества. И несмотря на это, онъ постоянно сохраняетъ объективность и остается ей вѣренъ въ самыхъ трудныхъ задачахъ анализа. Подчасъ эта объективность его переходитъ во что-то нечеловѣческое. Когда вы читаете что-нибудь изъ произведений Толстого, вы получаете часто такое впечатлѣніе, какъ будто изображаемая имъ жизнь наблюдалась не съ земли, не живущимъ на ней человѣкомъ; вамъ начинаетъ казаться, что это какой-то созерцающій духъ, свободный отъ всѣхъ условностей земной жизни, чуждый ея интересамъ и страстямъ, слетѣль къ вамъ изъ холодныхъ пространствъ эфира и рассказываетъ о томъ, что онъ видѣлъ на землѣ изъ своей голубой дали. Онъ рассказываетъ о человѣкѣ, какъ о какомъ-то существѣ въ мірозданіи, рассказываетъ о дѣйствіяхъ, привычкахъ, отношеніяхъ этого существа, рассказываетъ съ изумительною правдою и глубокимъ пониманіемъ. Мало того, онъ раскрываетъ вамъ душу этого человѣка, показываетъ тон-



чайшую работу его мысли, сокровеннѣйшія движенія его чувствъ, порывы его страстей, какъ будто и на это на все онъ смотрѣлъ съ своей высоты и въ какой-то чудесный телескопъ видѣлъ каждую мысль подъ черепомъ человѣка, каждое чувство въ его сердцѣ. Несмотря на подробность и глубину этого психологическаго анализа, онъ все-таки производитъ впечатлѣніе наблюденія надъ объектомъ, впечатлѣніе какого-то изумительнаго постиженія посторонняго предмета; не то, что анализъ Достоевскаго, который такъ и дышетъ личнымъ знаніемъ всего изображаемаго. Поэтому намъ кажется, что выраженіе, употребленное когда-то г. Евг. Марковымъ, будто Л. Толстой весь сидитъ въ душѣ человѣка, не совсѣмъ соотвѣтствуетъ характеру его творчества и больше было-бы примѣнимо къ манерѣ субъективныхъ художниковъ, въ родѣ, напримѣръ, Достоевскаго.

Объективизмъ графа Толстого двойными отношеніями связанъ съ присущимъ ему интересомъ къ человѣческой личности. Прежде всего онъ дорисовываетъ характеръ этого интереса, окончательно выясняетъ намъ его содержаніе. Понявъ творческую манеру Толстого, мы уже не можемъ не видѣть, что центръ тяжести его художническихъ интересовъ покоится въ жизни человѣка, взятой какъ фактъ природы, какъ извѣстное явленіе міра. Это не тѣ интересы, которые держатъ художника внутри человѣческой личности, заставляя его уходить отъ внѣшней правды жизни все въ новыя и новыя глубины духа; еще менѣе—это интересы социальныхъ писа-

телей, стремящихся провести въ жизнь условныя и страстныя квалификаціи своего времени. Это позиція наблюдателя, ищущаго неизмѣннаго, существеннаго въ жизни, ищущаго постигнуть ея вѣчную правду. Поэтому вниманіе его всего больше привлекаютъ такіе неизбѣжныя, общіе факты жизни, какъ смерть, рожденіе, бракъ, любовь, вѣра, сомнѣніе и т. д. Высшимъ выраженіемъ художественнаго объективизма графа Толстого и лучшимъ объясненіемъ его созерцательныхъ интересовъ могутъ служить тѣ параллели, къ которымъ онъ такъ любилъ прибѣгать и которыми умѣлъ говорить такъ много. Вспомнимъ, напримѣръ, «Три смерти», гдѣ авторъ рядомъ со смертью человѣка показываетъ намъ, какъ такую-же утрату и печаль природы, смерть дерева; или — повѣсть «Казачи», гдѣ въ одной картинѣ, мы видимъ и ястреба, высматривающаго съ высокаго дерева свою добычу, и казаковъ, подкарауливающихъ враждебныхъ чеченцевъ; вспомнимъ, наконецъ, «Холстомеръ», гдѣ съ изумительною проницательностью и нечеловѣческой почти широтою какого-то пантеистическаго чувства намъ разсказаны исторіи двухъ существъ на землѣ—лошади и ея бывшаго хозяина, князя Серпуховскаго.

Но, несмотря на весь его объективизмъ, творчество гр. Толстого не теряется въ безразличномъ изображеніи явленій міра. Оно постоянно руководится и направляется глубокимъ интересомъ къ человѣку, что и составляетъ вторую связь этого интереса съ объективнымъ отношеніемъ Толстого къ изображен-

ному предмету. Интересъ этотъ какъ-бы привязываетъ творчество гр. Толстого къ человѣку и въ то же время какъ-бы согрѣваетъ его своимъ присутствіемъ. Отъ произведеній нашего художника не вѣетъ холодомъ индифферентизма: напротивъ, вы чувствуете всегда разлитые въ нихъ лучи горячаго участія и вниманія ко всему человѣческому. Всѣ глубочайшіе вопросы, которые поднимаетъ авторъ въ своихъ произведеніяхъ, вызваны именно этимъ вниманіемъ, этимъ значеніемъ для него всего доступнаго человѣку.

Чтобы понять, въ какомъ отношеніи къ основному мотиву творчества гр. Толстого стоитъ вторая изъ указанныхъ нами особенностей его произведеній, ихъ реализмъ, достаточно только взглянуть на нихъ съ этой стороны. Въ произведеніяхъ своихъ графъ Толстой преслѣдуетъ не только психологическую правду, для которой безразлична случайная правда внѣшней жизни и при изображеніи которой можно перенести дѣйствіе и въ надзвѣздныя сферы, и въ подземныя бездны ада, и въ прошлое, и въ будущее. Онъ—не абстрактный художникъ, но реалистъ въ полномъ смыслѣ слова: онъ не грѣшитъ противъ правды дѣйствительной жизни ни фавулою своихъ произведеній, ни типами изображаемыхъ людей, ни обстановкою, среди которой развивается у него дѣйствіе. Онъ рисуетъ всегда земную жизнь человѣка съ ея установившимся складомъ, съ ея необходимымъ содержаніемъ. Онъ глубоко проникся духомъ этой жизни, понялъ тѣ силы, на которыхъ она построена,

схватилъ тѣ формы, въ которыя она отливается, и въ созданіяхъ своихъ какъ-бы непосредственно даетъ намъ самую эту жизнь, или по крайней мѣрѣ ея животрепещущія части: такую свѣжею, такую сильною правдою дышать эти созданія. Читая ихъ, невольно поражаешься богатствомъ творческой способности художника, въ которой есть что-то, напоминающее тропическую природу. Какъ въ ея напряженной атмосферѣ, кажется, рѣетъ какая-то творящая сила и изъ каждаго сѣмени, изъ каждой цвѣточной пылинки выводитъ громадныя пальмы, бананы, папоротники, переплетаетъ ихъ ліанами, усыпаетъ растеніями-паразитами и чудовищными грибами, и изъ всей этой роскоши растительныхъ формъ создаетъ свои дѣвственные лѣса, такъ и въ атмосферѣ произведеній Толстого изъ каждой страны возникаетъ художественный образъ, въ каждой оброченной фразѣ свѣтится мысль, а иногда и какая-нибудь глубокая истина. Подчиняясь извѣстному порядку художественнаго плана, вся эта масса образовъ распредѣляется въ опредѣленной перспективѣ и представляетъ грандіозную картину человѣческой жизни.

Но будучи настоящимъ реалистомъ, графъ Толстой никогда не спускался до простаго копированія дѣйствительности, никогда не переходилъ той черты, гдѣ кончалось типическое и начиналось царство случая. Мало того: сфера типическаго не имѣла для него значенія сама по себѣ. Онъ черпалъ изъ нея лишь настолько, насколько находилъ въ ней харак-

тернаго для жизни личности. Безцѣльное творчество, творчество ради одной возможности созданія или такъ-называемое искусство для искусства не въ его натурѣ. Онъ никогда не увлекался ни психологическою, ни социальною морфологіею. Но такимъ именно и должно быть творчество художника, несущаго, какъ свой девизъ, вопросъ: «чѣмъ люди живы?»

Итакъ, какое-же отношеніе существуетъ между художественными и философскими произведеніями графа Толстого? Мы полагаемъ, что послѣ приведенныхъ характеристикъ графа въ качествѣ философа и художника, отвѣтъ на этотъ вопросъ не представится труднымъ. Если, ссылаясь на объективизмъ произведеній нашего знаменитаго романиста, говорить иногда, что его личность до появленія философскихъ его сочиненій была совершенно для насъ неизвѣстна, то это происходило обыкновенно отъ того, что читатели, войдя въ міръ созданій Толстого и не находя тамъ словъ прямо отъ его лица, увлекались тѣмъ или другимъ предметомъ этого міра и забывали его творца; если-же мы взглянемъ на этотъ міръ со стороны, какъ на нѣчто цѣлое, то увидимъ, что весь онъ произведенъ живущимъ въ душѣ художника интересомъ къ человѣческой личности, интересомъ къ тому, чѣмъ живетъ эта личность, чѣмъ удовлетворяется и отъ чего страдаетъ. А отъ этого — все-же еще объективнаго отношенія къ человѣку — всего одинъ шагъ до того субъективнаго вопроса о цѣли жизни, изъ котораго выросло все философское ученіе графа, и если мы ближе присмотримся къ его

художественнымъ произведеніямъ, то окажется, что шагъ этотъ былъ сдѣланъ имъ еще въ качествѣ художника. Уже одно неутомимое исканіе отвѣта на вопросъ: чѣмъ люди живы? — исканіе, заставившее графа Толстого останавливаться передъ каждою радостью и приманкою жизни, пока смыслъ и значеніе ихъ не были имъ постигнуты, заставившее его проникать въ самые потаенные уголки человѣческой души, исканіе, окончившееся поголовнымъ почти развѣнчаніемъ идеаловъ и разжалованіемъ человѣка въ какую-то букашку въ мірозданіи — уже одно такое исканіе могло служить несомнѣннымъ признакомъ личной заинтересованности автора въ этомъ вопросѣ. Но помимо этого, мы имѣемъ и болѣе положительныя доказательства того, что вопросъ о смыслѣ жизни издавна занималъ нашего художника. Уже въ «Дѣтствѣ, отрочествѣ и юности» маленькій Николай Иртеньевъ, въ жизни котораго какъ-то невольно чувствуешь много чертъ автобіографическаго значенія, уже онъ задавался этими-же вопросами, а это было въ самомъ началѣ литературной дѣятельности графа. Болѣе настойчиво и опредѣленно ставится тотъ-же вопросъ въ лицѣ Андрея Болконскаго и въ особенности Пьера Безухова въ «Войнѣ и мирѣ», гдѣ вопросъ этотъ изъ характерной для героя черты дорастаетъ уже до значенія самостоятельнаго художественнаго мотива. Наконецъ, въ «Аннѣ Карениной» Левинъ — уже какъ-бы прямой предтеча самого графа Толстого въ его роли философа и моралиста. Левинъ не только носитъ въ себѣ этотъ-же вопросъ о смыслѣ

человѣческой жизни, не только терзается имъ, но приблизительно и рѣшаетъ его такъ-же, какъ и Толстой. Слѣдовательно, никакого разрыва между прошлымъ и настоящимъ нашего великаго художника не произошло, бездна не раздѣляетъ эти два періода его жизни, связанные естественнымъ процессомъ внутренняго развитія, и если онъ говоритъ теперь другимъ языкомъ, чѣмъ прежде, то думаетъ онъ все ту-же давнишнюю, старую думу.

Графъ Л. Н. Толстой, какъ мы уже сказали, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть названъ представителемъ чистаго искусства: жизнь не интересуется его непосредственно, какъ возможный объектъ творчества, какъ форма, способная подняться до чистоты и законченности художественнаго идеала. Съ напряженнымъ вниманіемъ всматривается онъ въ перспективу открывающейся передъ нимъ жизни, но лишь ватѣмъ, чтобы опредѣлить значеніе для человѣческой личности виднѣющихся въ этой перспективѣ жизненныхъ возможностей. Онъ неотступно ищетъ того, чѣмъ можно жить человѣку, что можетъ удовлетворить присущія ему стремленія, того, что своею силою и красотою утоляло-бы всѣ жажды, покоряло-бы всѣ сердца, того, что можно бы показать людямъ какъ благо, въ которомъ открывается смыслъ жизни и ради котораго стоило-бы жить. На поиски этого блага нашъ художникъ выходитъ не съ вѣрою въ жизнь, но, напротивъ, съ великимъ сомнѣніемъ. Онъ не поддается обаянію каждаго радостнаго впечатлѣнія, не увлекается имъ, не поэтизируетъ его. Онъ не хо-

четь быть обманутымъ, какъ-бы ни были плѣнительны моменты заблужденій; онъ ищетъ правды, полной правды человѣческой жизни, какъ-бы она ни была сурова, бѣдна или ужасна. Пристально слѣдить онъ за человѣкомъ во всѣхъ положеніяхъ его жизни, гениальнымъ воображеніемъ художника вскрываетъ его душу, разбираетъ и анатомируетъ ее, пока не выступаетъ передъ нимъ вся правда этой души во всѣхъ ея радостяхъ и наслажденіяхъ, тревогахъ и печаляхъ, пока не обнаруживается та ложь, которую неискривимый идеалистъ-человѣкъ повсюду примѣшалъ къ дѣйствительности. Много различныхъ положеній перебралъ графъ Толстой въ своихъ произведеніяхъ. Но чѣмъ-же въ концѣ концовъ явилась ему раскрытая правда жизни? Нашелъ-ли онъ въ ней несомнѣнныя блага, нашелъ-ли идеалъ, способный удовлетворить человѣка, или безпощаднымъ отрицателемъ прошелъ по всей жизни, опустошая ея счастье и радости, какъ своего рода «бичъ Божій»?

Вотъ вопросъ, за разрѣшеніемъ котораго мы обратимся къ произведеніямъ графа Толстого. Вопросъ этотъ не вмѣщаетъ въ себѣ, конечно, полной ихъ критики, но на такую критику мы и не претендуемъ уже въ силу размѣра настоящихъ этюдовъ. Мы ограничиваемся именно указаннымъ вопросомъ потому, что, пройдя съ нимъ по всѣмъ произведеніямъ гр. Толстого, мы окончательно дорисуемъ личность автора въ его отношеніяхъ къ жизни, въ его міросозерцаніи, а это въ художественной критикѣ едва-ли не самое важное.





Въ двѣнадцати томахъ послѣдняго, недавно вышедшаго (1886 г.) изданія сочиненій гр. Л. Н. Толстого собраны, кажется, всѣ когда-либо печатавшіяся художественныя его произведенія. Есть, кромѣ того, и кое-что новое. Въ этихъ двѣнадцати книгахъ сжать цѣлый міръ творческой фантазіи, идей, художественныхъ образовъ и откровеній. Войдемъ-же въ этотъ міръ и посмотримъ, что именно возсоздалъ графъ Толстой изъ человѣческой жизни и въ какомъ озареніи представляетъ онъ намъ различныя ея явленія. Свой обзоръ мы будемъ совершать приблизительно въ томъ-же порядкѣ, въ какомъ слѣдуютъ одно за другимъ произведенія гр. Толстого въ вышеупомянутомъ ихъ изданіи, оставляя, впрочемъ, за собою право нарушать этотъ порядокъ всякій разъ, какъ только это покажется намъ нужнымъ или удобнымъ.

---

### III.

#### „Дѣтство, отрочество, юность.“

Повѣсть «Дѣтство, отрочество и юность» — если не самое первое произведеніе графа Толстого, то во всякомъ случаѣ одно изъ первыхъ. Писалась она въ продолженіе пяти лѣтъ, отъ 1852 до 1857 года, съ значительными, впрочемъ, перерывами, такъ какъ втеченіи этого-же времени начинающимъ тогда художникомъ были написаны и нѣкоторыя другія изъ его произведеній. Повѣсть эта, рассказанная отъ лица ея героя, изображаетъ жизнь русскаго человѣка помѣщичьей среды, начиная отъ первыхъ воспоминаній дѣтства и кончая его юношескимъ возрастомъ. Судя по нѣкоторымъ словамъ автора, какъ-бы нечаянно сорвавшимся у него въ повѣсти, можно думать, что у него былъ грандіозный планъ — прослѣдить жизнь человѣка до самой могилы, описать всѣ возрасты, какъ описалъ онъ дѣтство, отрочество и юность. Такъ, въ одномъ мѣстѣ онъ пишетъ: «Я убѣжденъ въ томъ, что ежели мнѣ суждено прожить

до глубокой старости, и рассказъ мой догонитъ мой возрастъ» и т. д. (I, стр. 240). Если наше предположеніе вѣрно, то можно отъ души пожалѣть, что графъ Толстой не выполнилъ этого плана. Вышедшая изъ подъ его пера книга человѣческой жизни, судя по началу ея, могла-бы быть смѣлымъ и поучительнымъ раскрытіемъ правды этой жизни, особенно интереснымъ потому, что уже по самой задачѣ она должна бы представить всю эту правду, все содержаніе жизни отъ первыхъ проблесковъ сознанія и до потери его въ наступающемъ безсиліи смерти и вслѣдствіе этого должна-бы полно и законченно выразить воззрѣніе художника на жизнь.

Возвращаясь отъ этихъ несбывшихся возможностей къ дѣйствительности, мы прежде всего встрѣчаемся съ вопросомъ объ основной идеѣ или замыслѣ разсматриваемой повѣсти. Богатый бытоописательный матеріалъ, заключающійся въ ней, а еще болѣе господствовавшія одно время въ нашей литературѣ обличительныя стремленія, заставили нѣкоторыхъ критиковъ видѣть центръ тяжести всей повѣсти въ изображеніи помѣщичьяго быта крѣпостной Россіи. Самый выборъ сюжета объяснялся желаніемъ показать тѣ условія, подъ вліяніемъ которыхъ неизбежно приходилось расти и развиваться въ извѣстный характеръ всякому ребенку привилегированнаго класса нашего общества. Съ своей стороны мы охотно признаемъ, что всякій желающій дѣйствительно найдетъ въ повѣсти графа Толстого много характерныхъ чертъ изображаемаго времени и извѣстной обществен-

ной среды, что многія лица повѣсти, какъ, напри-  
мѣръ, отецъ Николая Иртеньева, его бабушка, нѣ-  
мецъ-учитель—всѣмъ извѣстный Карлъ Ивановичъ,—  
нѣсколькими штрихами схваченная Наталья Савиш-  
на, Дубковъ, князь Нехлюдовъ, имѣютъ несомнѣнное  
значеніе типовъ, принадлежащихъ опредѣленному  
времени; но, несмотря на это, намъ кажется, что  
графъ Толстой писалъ свою повѣсть, подчиняясь  
иному творческому мотиву, что передъ нимъ стояла  
задача показать формирующуюся душу человѣка не  
въ зависимости отъ тѣхъ или другихъ общественно-  
историческихъ условій, но въ зависимости отъ при-  
сущихъ ей законовъ развитія; что онъ хотѣлъ пред-  
ставить постепенное измѣненіе жизни, какъ послѣд-  
ствіе неизбежныхъ метаморфозъ души. Какъ реал-  
истъ, онъ воплотилъ свою идею въ формы дѣйстви-  
тельной жизни тогдашней (т. е. до-реформенной) Рос-  
сіи; какъ художникъ, онъ создалъ образы, испол-  
ненные правды и силы, образы, естественно подни-  
мающіеся до значенія типовъ,—но все это только  
необходимый для выраженія идеи матеріалъ, только  
канва, по которой художникъ вышиваетъ узоры вну-  
тренней жизни человѣка. За такое предположеніе го-  
ворить прежде всего избранная авторомъ форма по-  
вѣсти. Форма эта, какъ извѣстно, автобіографиче-  
ская. Для объективнаго изображенія быта эта форма  
самая неудобная, такъ какъ она ставитъ всегда  
между изображеніемъ и читателемъ личность раз-  
казчика и заставляетъ постоянно считаться съ его  
характеромъ (если только рассказчикъ не безличное

и безхарактерное я, чего нельзя, конечно, сказать про Николая Иртеньева).

Если же художникъ на первый планъ выдвигаетъ интересъ къ внутренней жизни человѣка, если его задача заключается въ изображеніи того или другого психическаго состоянія, то автобіографическая форма произведенія, напротивъ, является весьма цѣлесообразною, такъ какъ позволяетъ весь рассказъ обратить въ характеристику героя-рассказчика. И графъ Толстой съ замѣчательнымъ искусствомъ воспользовался удобствами избранной имъ формы. Вчитайтесь въ языкъ, вслушайтесь въ тонъ, всмотритесь въ манеру рассказа въ отдѣльныхъ частяхъ повѣсти, соответствующихъ дѣтству, отрочеству и юности, и вы увидите, что въ первой—рассказъ этотъ дышетъ свѣжестью и наивною поэзіею дѣтскихъ впечатлѣній; во второй—вы уже чувствуете первые вспышки еще несознанныхъ страстей и понятій, вносящихъ пока только какую-то смутную тревогу въ спокойный дотолѣ міръ дѣтской души; въ третьей—вы слышите рассказъ юноши, постоянно увлекающагося какой-нибудь идеею, постоянно стремящагося осуществить въ своемъ лицѣ того или другого героя и больше всего боящагося простоты и естественности жизни. Но не одна только форма повѣсти подтверждаетъ высказанную нами мысль объ ея основной задачѣ; къ тому-же заключенію приводитъ и содержаніе ея, значительную долю котораго составляетъ никогда не покидаемый графомъ Толстымъ психологическій анализъ, направленный въ разбираемомъ произведеніи

на раскрытіе тѣхъ своеобразныхъ и забытыхъ уже нами душевныхъ состояній, которыми мы жили въ дѣтствѣ и юности.

Фабула повѣсти проста въ высшей степени. Можно даже сказать, что она вовсе отсутствуетъ, такъ какъ дѣйствіе повѣсти движется не сцѣпленіемъ какихъ-либо внѣшнихъ событій и обстоятельствъ, но естественнымъ процессомъ роста ея героя. Поэтому и мы не будемъ слѣдить за ходомъ ея событій, а обратимся прямо къ тому достоинству, которое имѣетъ въ глазахъ автора каждый изъ описанныхъ имъ возрастовъ. — Самымъ гармоническимъ возрастомъ, самою счастливою порою въ изображеніи нашего художника является дѣтство. Въ душѣ ребенка не возникъ еще мучительный разладъ внутреннихъ противорѣчій, для него не настало еще время неизбѣжныхъ сомнѣній въ каждой привязанности, въ каждомъ чувствѣ; онъ радуется беззаботными и чистыми радостями, онъ любитъ полно и цѣльно, онъ жадно ловитъ еще новыя для него впечатлѣнія жизни. Все интересно для маленькаго Николенки Иртеньева: и Карлъ Ивановичъ, котораго онъ уже умѣетъ любить, какъ сироту, какъ одинокаго человѣка; и папа, въ которомъ является ему безупречный образъ того, чѣмъ долженъ быть мужчина, и о возможности осужденія котораго ему не приходило въ голову еще ни одной мысли; и юродивый Гриша съ своими веригами и молитвами; и охота, и лошади, которыхъ онъ зналъ въ подробности. Но на вершинѣ всѣхъ воспоминаній дѣтства, на недосягаемой высотѣ красоты

и поэзіи стоитъ для него образъ матери. Въ образѣ этомъ графъ Толстой представилъ ту русскую женщину нашего обеспеченнаго дворянства — чистую, нѣжную, строгую къ самой себѣ, безгранично любящую и прощающую, — которая какимъ-то чудомъ явилась въ нашей жизни среди господствующей грубости и распущенности и которая въ наше болѣе «просвѣщенное» время готова, кажется, отойти въ область преданія. Этотъ образъ матери замѣчательнъ еще и тѣмъ, что во всемъ творествѣ графа Толстого это едва-ли не единственная личность съ идеальнымъ характеромъ. Художникъ пощадилъ ее отъ разлагающаго дѣйствія своего анализа и, создавъ ее нѣсколькими легкими штрихами, окружилъ тѣмъ поэтическимъ сіяніемъ, которое такъ идетъ къ воспоминаніямъ сына, еще въ дѣтствѣ потерявшаго свою любимую мать.

Сравнивая свое настоящее съ давно пережитою порою дѣтства, авторъ пишетъ: «Вернутся-ли когда-нибудь та свѣжесть, беззаботность, потребность любви и сила вѣры, которыми обладаешь въ дѣтствѣ? Какое время можетъ быть лучше того, когда двѣ лучшія добродѣтели — невинная веселость и безпредѣльная потребность любви — были единственными побужденіями въ жизни? Гдѣ тѣ горячія молитвы? Гдѣ лучший даръ — тѣ чистыя слезы умиленія? Прилеталъ ангель-утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы эти и напѣвалъ сладкія грезы неиспорченному дѣтскому воображенію. Неужели жизнь оставила такіе тяжелые слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли

отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминанія?»

Строки эти производятъ впечатлѣніе какой-то сознанный человѣкомъ утраты. Было что-то большое и прекрасное, мелькнуло въ дѣтствѣ и затѣмъ исчезло навсегда, оставивъ въ душѣ только воспоминаніе о какомъ-то блаженствѣ, о какомъ-то эдемѣ, изъ котораго изгнали тебя проснувшіяся страсти да развившійся разумъ.

Этотъ-то процессъ развитія и изображаетъ авторъ далѣе, описывая отрочество и юность,—изображаетъ съ присущею ему смѣлостью и правдою. «Случалось-ли вамъ, читатель, въ извѣстную пору жизни вдругъ замѣчать, что вашъ взглядъ на вещи совершенно измѣняется, какъ-будто всѣ предметы, которые вы видѣли до тѣхъ поръ, вдругъ повернулись къ вамъ другою, неизвѣстною еще стороною? Такого рода моральная перемѣна произошла во мнѣ въ первый разъ во время нашего путешествія, съ котораго я и считаю начало моего отрочества. Мнѣ въ первый разъ пришла мысль о томъ, что не мы одни, т. е. наше семейство, живемъ на свѣтѣ, что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего неимѣющихъ общаго съ нами, не заботящихся о насъ и даже неимѣющихъ понятія о нашемъ существованіи».

Вскорѣ съ душею маленькаго героя произошла еще одна перемѣна: онъ началъ постигать какое-то особенное значеніе женщины. Началомъ этого откровенія послужила слѣдующая сцена. Однажды, стоя



на лѣстницѣ, онъ услышалъ голосъ Маши (молодой горничной): «Ну васъ, что вы балуетесь! А какъ Марья Ивановна придетъ—развѣ хорошо будетъ?»— Не придетъ, шепотомъ сказалъ голосъ Володи (старшій братъ Николая), и вслѣдъ за этимъ что-то зашевелилось, какъ будто Володя хотѣлъ удержать ее. «Ну, куда руки суете? Безстыдникъ!» И Маша со сдернутой на бокъ косынкой, изъ подъ которой виднѣлась бѣлая, полная шея, пробѣжала мимо меня.

«Не могу выразить, до какой степени меня изумило это открытіе; однако, чувство изумленія скоро уступило мѣсто сочувствію поступку Володи: меня уже не удивлялъ самый его поступокъ, но то, какимъ образомъ онъ постигъ, что пріятно такъ поступать. И мнѣ невольно захотѣлось подражать ему».

Познакомился нашъ герой и съ чувствомъ ненависти (онъ ненавидѣлъ своего учителя—Жерома), и съ чувствомъ одиночества. Началась въ немъ и разрушительная работа мысли, словно на зло человѣку направляющаяся прежде всего на то, что для него наиболѣе дорого. «Я люблю отца, рассказываетъ Иртенъевъ, но умъ человѣка живетъ независимо отъ сердца и часто вмѣщаетъ въ себя мысли, оскорбляющія чувство, непонятныя и жестокія для него. И такія мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить ихъ, приходятъ мнѣ».

Наконецъ, подростающей мысли нашего героя стали доступны и отвлеченные вопросы, и онъ сильно увлекался ими. «Дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы,

предложеніе которыхъ составляетъ высшую ступень, до которой можетъ достигать умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему». То ему приходила мысль, что счастье наше зависитъ отъ насъ самихъ и что человѣкъ, привыкшій переносить страданія, не можетъ быть несчастливъ;—и вотъ, чтобы пріучить себя къ этимъ страданіямъ, онъ уходилъ въ чуланъ и, какъ маленькій факиръ, стегалъ себя веревкой по голой спинѣ такъ больно, что слезы невольно выступали на глазахъ; то вспоминалось ему, что его ежечасно ожидаетъ смерть и что поэтому нелѣпо заботиться о будущемъ, а нужно только пользоваться настоящимъ,—и онъ подъ вліяніемъ этой мысли бросилъ уроки и три дня «занимался только тѣмъ, что, лежа на постели, наслаждался чтеніемъ какого-нибудь романа и ѣдою пряниковъ съ кроновскимъ медомъ, которые покупалъ на послѣднія деньги»; то увлекался онъ скептицизмомъ и думалъ, что кромѣ него никого и ничего не существуетъ во всемъ мірѣ. «Были минуты, что я, пишетъ онъ, подъ вліяніемъ этой постоянной идеи, доходилъ до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался въ противоположную сторону, надѣясь врасплохъ застать пустоту (néant) тамъ, гдѣ меня не было».

Для насъ здѣсь интереснѣе всего тотъ общій выводъ, который дѣлаетъ авторъ о значеніи ума въ вопросѣ человѣческаго счастья. «Жалкая ничтожная, пружина моральной дѣятельности, — умъ человѣка!» читаемъ мы. «Слабый умъ мой не могъ проникнуть

непроницаемаго, а въ непосильномъ трудѣ терялъ одно за другимъ убѣжденія, которыя, для счастья моей жизни, я никогда-бы не долженъ былъ смѣть затрогивать. Изъ всего этого тяжелаго моральнаго труда я не вынесъ ничего, кромѣ изворотливости ума, ослабившей во мнѣ силу воли, и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтожившей свѣжесть чувства и ясность разсудка».

И такъ—вотъ жребій человѣка! Выше и выше поднимаясь по ступенямъ духовнаго развитія, полнѣе и полнѣе освобождая свое сознаніе отъ господства страстей и привычекъ, человѣкъ въ то-же время дальше и дальше отходитъ отъ своего счастья. Для счастья нужна какая-либо святыня, какая-либо завѣтная область, нужно что-либо безусловно прекрасное и обязательное, а развившаяся и свободная мысль человѣка не знаетъ для себя преградъ, все дѣлаетъ предметомъ своего анализа, въ силу природы вещей всюду находить пятна и тѣни, въ самой прекрасной дѣйствительности видитъ лишь слабое подобіе идеальнаго и, облетая жизнь человѣка, отнимаетъ у него одно за другимъ условія его счастья. Мысль эта, впрочемъ, не новая: еще Шекспиръ подмѣтилъ этотъ фатумъ, тяготѣющій надъ человѣческимъ духомъ, и далъ ему вѣчное выраженіе въ Гамлетѣ. Характерно только, что и графъ Толстой находитъ нужнымъ высказать эту-же мысль.

Юность, по словамъ графа Толстого, начинается съ того времени, когда благородныя мысли и стремленія къ нравственному усовершенствованію, нравив-

шіяся прежде только уму, становятся доступными и чувству и находятъ для себя живой органъ въ сложившейся уже моральной природѣ недавняго ребенка. Сущность новаго настроенія нашего героя всего лучше выражается въ слѣдующемъ искреннемъ и сильномъ порывѣ: «Какъ могъ я не понимать этого (что красота, счастье и добродѣтель легки и возможны для него), какъ дурень я былъ прежде, какъ я могъ-бы и могу быть хорошъ и счастливъ въ будущемъ!» говорилъ онъ самъ себѣ:—«надо скорѣй, скорѣй, сію же минуту сдѣлаться другимъ человѣкомъ и начать жить иначе». Всякій, у кого была юность не съ однимъ только разгуломъ физическихъ силъ, но и съ нравственнымъ содержаніемъ, вспомнить, что именно эти слова говорилъ онъ себѣ, что эти-же образы красоты, счастья и добродѣтели манили его въ будущее и что внѣ ихъ онъ не понималъ и не хотѣлъ жизни. Но мы живемъ... А кто изъ насъ осуществилъ въ своей жизни эту красоту и счастье? Есть-ли между нами даже такіе, у кого-бы сохранилась вѣра въ эти лучезарные идеалы, у кого-бы потребность красоты не смѣнилась стремленіемъ къ комфорту, жажда счастья — исканіемъ пріятныхъ ощущеній, желаніе добродѣтели — необходимостью всепризнанной морали?.. Какъ-же свершается это паденіе жизни — не внѣшней жизни, которая всегда одинакова, а нашего внутренняго міра, нашей души?—Обратимся къ повѣсти и посмортимъ, что вышло изъ стремленія юноши Иртеньева «сдѣлаться другимъ человѣкомъ».

Стремленіе это выливается у Иртеньева въ цѣ-

юмъ рядѣ мечтаній. Такъ, передъ исповѣдью онъ мечталъ, что очистится отъ всѣхъ грѣховъ и больше не будетъ совершать поступковъ, которые его теперь мучатъ; мечталъ о томъ, что каждое воскресенье будетъ ходить въ церковь, что изъ своихъ денегъ будетъ помогать бѣднымъ, что самъ будетъ прибирать свою комнату, чтобы не затруднять человѣка; мечталъ онъ и о томъ, какъ сдѣлается первымъ ученымъ въ Европѣ; мечталъ о томъ, какъ будетъ ходить гулять на Воробьевы горы и встрѣтитъ тамъ ее. О ней, о воображаемой женщинѣ (которая была для него немножко Соничка, немножко Маша, жена лакея, въ то время, когда она моетъ бѣлье въ корытѣ, и немножко женщина съ жемчугами на бѣлой шеѣ, которую онъ видѣлъ въ театрѣ), мечтаетъ онъ очень много; мечтаетъ онъ и о славѣ, о томъ, какъ люди будутъ знать и любить его,—и Богъ только знаетъ, о чемъ онъ не мечталъ тогда. Мечтанія эти не остаются безъ вліянія на его жизнь: такъ, вспомнивъ «одинъ стыдный грѣхъ», который онъ утаилъ на исповѣди, онъ рѣшается ѣхать въ монастырь и исповѣдаться вторично. Эпизодъ этой поѣздки въ художественномъ отношеніи истинный шедевръ: графъ Толстой передаетъ его съ легкимъ оттѣнкомъ юмора, не мѣшающимъ ему отмѣтить и искреннее умиленіе юноши въ моментъ исповѣди, и въ то-же время позволяющимъ указать и то тщеславное чувство, которое заставляетъ молодого ревнителя своей нравственной чистоты рассказать извозчику о цѣли своей поѣздки въ монастырь.

Сдавъ послѣдній экзаменъ въ университетъ, герой нашъ, чтобы походить на большого, ѣдетъ по магазинамъ и тратитъ всѣ свои деньги на покупку совершенно ненужныхъ ему вещей; покупаетъ онъ также себѣ и табаку, такъ какъ ему, какъ студенту, нужно курить. Приѣхавъ домой, онъ пробуетъ курить, но съ непривычки у него закружилась голова, ему сдѣлалось тошно и онъ, лежа на диванѣ, грустно думалъ съ разочарованіемъ: «вѣрно я еще не совсѣмъ большой, если не могу курить, какъ другіе, и что видно мнѣ не судьба, какъ другимъ, держать чубукъ между среднимъ и безымяннымъ пальцемъ, затягиваться и пускать дымъ черезъ русые усы».

Дальше авторъ рассказываетъ намъ, какъ стремящійся къ красотѣ и правдѣ юноша выдумалъ себѣ любовь. «Мнѣ давно уже было совѣстно, глядя на всѣхъ своихъ влюбленныхъ пріятелей, за то, что я отсталъ отъ нихъ», говоритъ откровенный и правдивый рассказчикъ. И вотъ, увидѣвшись съ одною барышней, Соничкой, которую онъ зналъ еще въ дѣтствѣ, онъ рѣшилъ въ тотъ-же мигъ, что влюбленъ въ нее. Объ этомъ чувствѣ онъ рассказалъ своему другу Дмитрію Нехлюдову; по приѣздѣ-же въ деревню, на каникулы, онъ, подражая влюбленнымъ, цѣлые два дня ходилъ передъ своими домашними грустнымъ и задумчивымъ; на третій день однако притворства уже не хватило и онъ совсѣмъ забылъ о своей любви.

Затѣмъ графъ Толстой раскрываетъ въ своемъ героѣ столь свойственное юношамъ тщеславное же-



ланіе выказать себя другимъ человѣкомъ, чѣмъ есть, желаніе, заводившее студента Иртеньева въ дебри самой отчаянной лжи, заставлявшее его рисоваться фразами, мысли которыхъ онъ вовсе не сочувствовалъ, или напускать на себя несвойственные и чуждые ему настроенія.

Но показывая всю ложь и фальшь, которыми полна дѣйствительность юности, графъ Толстой не забываетъ и того прекраснаго, что живетъ въ мечтахъ, порывахъ и стремленіяхъ этого возраста. Стоитъ прочесть, напримѣръ, слѣдующій исполненный поэтической прелести, отрывокъ, изображающій юношескія грезы, навѣянные картиною ясной лѣтней ночи: «Все (въ этой картинѣ) получало для меня странный смыслъ—смыслъ слишкомъ большой красоты и какого-то недоконченнаго счастья. И вотъ являлась она, съ длинною, черною косою, высокою грудью всегда печальная и прекрасная, съ обнаженными руками, съ сладострастными объятіями. Она любила меня, я жертвовалъ для одной минуты ея любви всею жизнью. Но луна все выше и выше, свѣтлѣе и свѣтлѣе стояла на небѣ, пышный блескъ пруда, равномерно усиливающійся, какъ звукъ, становился яснѣе и яснѣе, тѣни становились чернѣе и чернѣе, свѣтъ прозрачнѣе и прозрачнѣе, и вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мнѣ, что она съ обнаженными руками и пылкими объятіями еще далеко-далеко не все счастье, что и любовь къ ней далеко-далеко еще не все благо; и чѣмъ больше я смотрѣлъ на высокій, полный мѣсяцъ, тѣмъ истин-

ная красота и благо казались мнѣ выше и выше, чище и чище, ближе и ближе къ Нему, къ источнику всего прекраснаго и благого, и слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мнѣ на глаза».

Итакъ, вступая черезъ отрочество, разрушившее наивный и очаровательно-чистый міръ дѣтства, въ юность, человѣкъ встрѣчаетъ въ ней много прекрасныхъ надеждъ, чувствуетъ въ себѣ много силъ и стремленій, которыя должны-бы дать ему полное и высокое счастье; но едва онъ начинаетъ жить, тратить этотъ многообѣщающій запасъ силъ, какъ жизнь его наполняется какою-то мелочностью и ложью, столь непохожими на великія ожиданія отъ нея. Сбываются-ли эти ожиданія въ позднѣйшіе періоды человѣческой жизни, объ этомъ не говоритъ разсматриваемая повѣсть, опускающая передъ нами занавѣсъ раньше даже, чѣмъ оканчивается юность; но объ этомъ говорятъ другія произведенія художника Толстого, къ которымъ мы теперь и обратимся.

---



## IV.

### Повѣсти и рассказы.

Періодъ писательской дѣятельности графа Л. Н. Толстого отъ 1852 до 1861 года можетъ быть названъ періодомъ рассказовъ и повѣстей. Кромѣ большой повѣсти—«Дѣтство, отрочество и юность»,—о которой мы уже говорили, въ это-же время нашимъ художникомъ было написано много другихъ повѣстей и рассказовъ и только одинъ романъ («Семейное счастье»), да и то небольшой по объему и до исключительности простой по фабулѣ. Въ это время талантъ графа Толстого какъ-бы испытывалъ свои силы и на разработкѣ некрупныхъ художественныхъ темъ какъ-бы подготавлился къ тѣмъ великимъ созданіямъ, появленіемъ которыхъ отмѣченъ послѣдующій періодъ его литературной дѣятельности.

Но, несомнѣнно уступая большимъ романамъ нашего художника и широтою захвата, и глубиною творческаго замысла, его повѣсти и рассказы представляются тѣмъ не менѣе мастерскими произведеніями, всегда содержательными, всегда оригинальными по

идеѣ, а иногда и положительно чудесными по той мѣткости слова и силѣ художественнаго образа, которыя какъ-бы дѣйствительно творятъ кругомъ васъ изображаемую жизнь, заставляють ее чувствовать, осязать ея формы, видѣть ея краски, слышать ея звуки... Содержаніе этихъ повѣстей и рассказовъ чрезвычайно разнообразно. Часть изъ нихъ посвящена изображенію войны и основою своею привязана къ историческимъ событіямъ — осадѣ Севастополя и кавказскимъ походамъ. Другіе говорятъ о культурномъ человѣкѣ, третьи воспроизводятъ народную жизнь. Есть даже рассказы изъ жизни животныхъ и природы.

Оставимъ пока въ сторонѣ войну и посмотримъ на мирную жизнь человѣка въ изображеніи ея графомъ Толстымъ.

Повѣсть «Утро помѣщика» есть, какъ извѣстно, отрывокъ изъ неоконченнаго романа «Русскій помѣщикъ». Это названіе несозданнаго романа въ связи съ содержаніемъ существующаго отрывка даетъ поводъ предполагать, что авторъ имѣлъ въ виду представить одинъ изъ типовъ русскаго дворянства, именно — тотъ типъ мягкаго, искренно доброжелательнаго, благороднаго, но отвлеченнаго и непрактичнаго мечтателя, который образовался въ нашей помѣщичьей средѣ подъ вліяніемъ гуманитарнаго идеализма сороковыхъ годовъ. Князь Нехлюдовъ, еще девятнадцатилѣтній юноша, бросаетъ университетъ и поселяется въ деревнѣ ради своей «священной и прямой обязанности заботиться о счастьи семисотъ

человѣкъ» своихъ крестьянъ, которыхъ, по его мнѣнію, грѣшно «покидать на произволъ грубыхъ старость и управляющихъ изъ-за плановъ наслажденія или честолюбія». Каждое воскресное утро, согласно установленному распредѣленію времени, молодой помѣщикъ обходилъ своихъ бѣдныхъ крестьянъ съ цѣлью ознакомиться съ ихъ нуждами и оказать имъ возможную помощь. Пользуясь одною изъ такихъ филантропическихъ прогулокъ князя Нехлюдова, авторъ заглядываетъ въ нѣсколько крестьянскихъ дворовъ и описываетъ эти удивительныя человѣческія жилища и ихъ своеобразныхъ обитателей. Въ описаніяхъ этихъ, не смотря на ихъ краткость, онъ успѣваетъ создать нѣсколько типовъ русскаго мужика. И хотя эти типы образованы изъ чертъ, схваченныхъ первымъ впечатлѣніемъ, подмѣченныхъ въ нѣсколько минутъ наблюденія, хотя они созданы всего нѣсколькими штрихами, тѣмъ не менѣе они отличаются замѣчательною художественною опредѣленностью и правдоподобіемъ. Это живыя лица, каждый съ своимъ характеромъ, съ своей индивидуальной фizioноміей, и въ то-же время во всѣхъ ихъ вы чувствуете знакомую стихію народнаго духа, связывающую ихъ съ русскою землею, съ русскимъ бытомъ, съ русскою исторіею.

Здѣсь кстати замѣтить, что народные типы графа Толстого до сихъ поръ остаются недостижимыми образцами для нашихъ художниковъ. Несмотря на то, что беллетристика послѣдняго времени весьма часто бралась за сюжеты изъ народной жизни, ей ни разу не

удалось подняться до той художественной правды, которою проникнуты творенія Толстого. Идеализація народа съ одной стороны и стремленіе изображаетъ его жизнь въ видѣ сплошной каторги съ другой—стояли и до сихъ поръ стоятъ непреодолимыми препятствіями на пути къ этой правдѣ. Мы не говоримъ здѣсь, конечно, о Тургеневѣ: его «Записки охотника» явились раньше произведеній Толстого.

Не народная жизнь, однако, составляетъ главный интересъ разсматриваемой повѣсти. Въ ней развитъ другой мотивъ, въ ней раскрывается природа филантропическихъ стремленій человѣка. И въ наше холодное, эгоистическое время найдется немало людей, вѣрующихъ въ существованіе въ душѣ человѣка самостоятельныхъ желаній добра и счастья обществу или человѣчеству, въ способность его жить этими желаніями и трудиться ради нихъ; въ пятидесятые-же годы, въ эту эпоху возрожденія у насъ общественныхъ идеаловъ, подобное вѣрованіе было господствующимъ и возводилось едва-ли не въ обязанность всякаго образованнаго и честнаго человѣка. Но нашъ художникъ не поддался этому всеобщему увлеченію и съ цѣлью доискаться правды, направилъ свой анализъ на тѣ психическіе мотивы, которыми обуславливается общественная дѣятельность. Онъ не отрицалъ существованія такихъ мотивовъ, онъ только сомнѣвался въ ихъ исключительной природѣ, въ томъ характерѣ самостоятельности, который имъ приписывали.

Герой повѣсти, князь Нехлюдовъ, вѣрить въ

любовь-самоотверженіе, вѣрить въ счастье жизни, отданной на пользу другихъ людей. Какъ мы уже сказали, онъ бросаетъ столицу, привычное общество, университетъ, прежніе планы и ѣдетъ въ деревню устраивать своихъ крестьянъ. Казалось-бы, при такихъ намѣреніяхъ благо cadaго крестьянина должно стать его естественною цѣлью; казалось-бы, отъ живой личности cadaго изъ нихъ онъ и долженъ-бы отправляться въ своихъ заботахъ и въ своей дѣятельности; казалось-бы, любовь, да развѣ еще сожалѣніе, могли быть единственными чувствами его къ этимъ людямъ. Но повѣсть деревенской жизни князя говоритъ другое. Встрѣтивъ во время своего обхода болѣзненнаго, апатичнаго, лѣниваго и бѣднаго мужика (Давыдку-Бѣлаго), князь не чувствуетъ къ нему ни любви, ни состраданія; съ нимъ происходитъ нѣчто другое: «Что мнѣ дѣлать съ нимъ? Оставить его въ этомъ положеніи невозможно и для себя, и для примѣра другимъ, и для него самого невозможно. Я не могу видѣть его въ этомъ положеніи, а чѣмъ вывести его? Онъ уничтожаетъ всѣ мои лучшіе планы въ хозяйствѣ. Если останутся такіе мужики, мечты мои никогда не сбудутся,—подумалъ онъ, испытывая досаду и злобу на мужика за разрушеніе его плановъ. Сослать на поселеніе, какъ говоритъ Яковъ (прикащикъ), коли онъ самъ не хочетъ, чтобъ ему было хорошо, или въ солдаты? Точно: по крайней мѣрѣ и отъ него избавлюсь, и еще замѣню хорошаго мужика».

Мечты—вотъ главное! Если тотъ, кого мы хотимъ

осчастливить, разрушаетъ эти мечты, мы испытываемъ противъ него злобу и вмѣсто счастья готовы наградить его ссылкой или отдачей въ солдаты... Значеніе этой мечты авторъ дорисовываетъ другою сценою. Придя на пчельникъ богатаго крестьянина Дутлова, Нехлюдовъ подъ вліяніемъ пахнувшаго на него мира, довольства и добродушія забылъ тяжелыя впечатлѣнія утра, «и его любимая мечта живо представилась ему. Онъ видѣлъ уже всѣхъ своихъ крестьянъ такими-же богатыми, добродушными, какъ старикъ Дутловъ, и всѣ ласково и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своимъ богатствомъ и счастьемъ». Такъ вотъ пружина филантропической дѣятельности! Осчастливьте людей помимо насъ, и мы не будемъ радоваться. Пусть даже мы дадимъ имъ это счастье, но они не будутъ этого знать, не будутъ ласково и радостно намъ улыбаться,—и мы не почувствуемъ себя удовлетворенными; предвидя такой исходъ нашихъ трудовъ и стараній, мы, быть можетъ, и не захотѣли-бы добывать это счастье для людей. Повѣсть оканчивается сопоставленіемъ мечты, завлекшей князя Нехлюдова въ деревню, убѣжденій его, что самоотверженная любовь есть единственное истинное счастье, съ тѣмъ разочарованіемъ, къ которому онъ пришелъ черезъ годъ и пришелъ потому, что не нашелъ счастья, хотя страстно желалъ его. Отчего-же наступило это разочарованіе? Отчего Нехлюдовъ не могъ быть счастливымъ? Оттого, говоритъ намъ повѣсть, что онъ только мечталъ о красотѣ и счастьѣ самоотверженной люб-

ви, но въ дѣйствительности не любилъ этого Чури-са, Юхванку-Мудренаго, Давыдку-Бѣлаго, всѣхъ этихъ живыхъ людей, ради которыхъ онъ, будто-бы, пріѣхалъ въ деревню. Онъ любилъ только свою мечту, свою надуманную роль благотворителя, и потому, когда дѣйствительность оказалась не въ ладу съ его мечтою, когда отъ ея суроваго прикосновенія развѣялись прекрасныя юношескія грезы, онъ почувствовалъ себя несчастнымъ.

Маленькая повѣсть «Записки маркера» останавливаетъ на себѣ вниманіе прежде всего оригинальностью формы. Это безыскусственный, простой рассказъ маркера объ одномъ изъ постоянныхъ посѣтителей билліардной. Но въ этомъ рассказѣ—цѣлая исторія паденія жизни, цѣлая драма, разрѣшающаяся самоубійствомъ. Драма эта чисто внутренняя; рассказъ-же касается только тѣхъ внѣшнихъ проявленій жизни, которыя могъ видѣть маркеръ въ ресторанахъ и которыя были доступны его пониманію. Въ сопоставленіи этого внутреннего сюжета съ внѣшними приемами описанія и заключается оригинальность повѣсти. Въ концѣ концовъ оказалось, однако, что слова маркера безсильны передать внутреннюю жизнь кончившаго самоубійствомъ князя Нехлюдова. Потребовалась записка самоубійцы. Содержаніе этой записки весьма характерно. Вотъ что пишетъ Нехлюдовъ:

«Богъ далъ мнѣ все, чего можетъ желать человѣкъ: богатство, имя, умъ, благородныя стремленія. Я хотѣлъ наслаждаться и затопталъ въ грязь все,

что было во мнѣ хорошаго. Я не обезпеченъ, не несчастенъ, не сдѣлалъ никакого преступленія; но я сдѣлалъ хуже: я убилъ свои чувства, свой умъ, свою молодость. Я опутанъ грязною сѣтью, изъ которой могу выпутаться и къ которой не могу привыкнуть. Я безпрестанно падаю, падаю, чувствую свое паденіе и не могу остановиться...

«И что погубило меня? Была-ли во мнѣ какая-нибудь сильная страсть, которая бы извинила меня? Нѣтъ.

«Хороши мои воспоминанія! Одна ужасная минута забвенія, которой я никогда не забуду, заставила меня опомниться. Я ужаснулся, когда увидѣлъ, какая неизмѣримая пропасть отдѣляла меня отъ того, чѣмъ я хотѣлъ и могъ быть. Въ моемъ воображеніи возникли надежды, мечты и думы моей юности.

«Гдѣ тѣ свѣтлыя мысли о жизни, о вѣчности, о Богѣ, которыя съ такою ясностью и силою наполнили мою душу? Гдѣ безпредметная сила любви, отрадною теплотой согрѣвавшая мое сердце? Гдѣ надежда на развитіе, сочувствіе ко всему прекрасному, любовь къ роднымъ, къ ближнимъ, къ труду, къ славѣ? Гдѣ понятіе обязанности?»

«А какъ бы я могъ быть хорошъ и счастливъ, если бы шелъ по той дорогѣ, которую, вступая въ жизнь, открылъ мой свѣжій умъ и дѣтское, истинное чувство! Не разъ пробовалъ я выйти изъ колеи, по которой шла моя жизнь на эту свѣтлую дорогу. Я говорилъ себѣ: употреблю все, что есть у меня воли, и не могъ. Когда я оставался одинъ, мнѣ станови-



лось неловко и страшно съ самимъ собой. Когда я былъ съ другими, я забывалъ невольно свои убѣжденія, не слыхалъ болѣе внутренняго голоса и снова падалъ.

«Наконецъ я дошелъ до страшнаго убѣжденія, что не могу подняться, пересталъ думать объ этомъ и хотѣлъ забыться; но безнадежное раскаяніе еще сильнѣе тревожило меня. Тогда мнѣ въ первый разъ пришла мысль о самоубійствѣ...

«Я думалъ прежде, что близость смерти возвыситъ мою душу. Я ошибался. Черезъ четверть часа меня не будетъ, а взглядъ мой нисколько не измѣнился. Я также вижу, также слышу, также думаю; та же странная непослѣдовательность, шаткость и легкость въ мысляхъ.

«Непостижимое созданіе человѣкъ!»

Какъ видимъ, этимъ маленькимъ рассказомъ затронута весьма интересная и серьезная тема. Отчего, въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ, одаренный всѣми благами судьбы, вмѣсто счастья, носить въ душѣ неотступную муку, вмѣсто жизни избираетъ добровольную смерть?— Къ сожалѣнію, мы не находимъ въ настоящемъ рассказѣ той глубокой, художественной разработки взятой темы. на которую способенъ графъ Толстой. Онъ даетъ здѣсь только нѣсколько намековъ для разрѣшенія поставленнаго вопроса. Не сильная страсть, не преступленіе, не безчестный поступокъ погубили Нехлюдова,—нѣтъ: онъ погибъ отъ безсилія осуществить свѣтлыя мечты и благородныя думы своей молодости, онъ погибъ оттого, что душа его сохранила

еще сознание высоких и чистых стремлений, в то время, как жизнь его упала в грязь пошлости, ничтожества, презрительных интересов и жалких тревог. Кругом него живут люди той-же жизнью, но они не чувствуют возможности иного, высокого и прекрасного счастья для человека и они спокойны. Есть в жизни и другие характеры, есть сильные, неутомимые бойцы за свои идеалы, способные на подвиг и жертву. Но князь Нехлюдов не из их числа: нося в душе своей чистый идеал жизни, он лишен воли, необходимой для его осуществления. Из этого внутреннего противоречия и развивается та драма, которую показал нам граф Толстой. Драма эта не есть какое-либо исключительное явление, обусловленное особенностями той или другой эпохи; она постоянно повторяется и в наше время и будет повторяться до тех пор, пока будут существовать высокие порывы рядом с бессильными характерами.

Небольшой рассказ «Люцерн» принадлежит к наименее художественным произведениям графа Толстого. В сущности это довольно отвлеченное рассуждение, приуроченное к одному факту заграничной жизни, поразившему князя Нехлюдова (настоящий рассказ есть как-бы отрывок из записок князя Нехлюдова). Факт этот состоял в том, что богатые обитатели великоллепной люцернской гостиницы Швейцергофа не дали ничего бедному странствующему певцу, который в течение получаса забавлял их своим пением и игрою на гитаре.

Но если рассказъ этотъ не представляетъ ничего особеннаго въ художественномъ отношеніи, зато въ немъ содержатся идеи, чрезвычайно характерныя для міровоззрѣнія графа Толстого. Упомянутое событіе передъ люцернской гостинницей кажется князю Нехлюдову совершенно новымъ, страннымъ и относящимся не къ вѣчнымъ дурнымъ сторонамъ человѣческой природы, но къ извѣстной эпохѣ развитія общества. «Это фактъ не для исторіи дѣяній людскихъ, но для исторіи прогресса и цивилизаціи. Отчего этотъ безчеловѣчный фактъ, невозможный ни въ какой деревнѣ нѣмецкой, французской или итальянской, возможенъ здѣсь, гдѣ цивилизація, свобода и равенство доведены до высшей степени, гдѣ собираются путешествующіе самые цивилизованные люди самыхъ цивилизованныхъ націй? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные въ общемъ на всякое честное, гуманное дѣло, не имѣютъ человѣческаго сердечнаго чувства на личное доброе дѣло! Отчего эти люди, въ своихъ палатахъ, митингахъ и обществахъ горячо заботящіеся о состояніи безбрачныхъ китайцевъ въ Индіи, о распространеніи христіанства и образованія въ Африкѣ, о составленіи общества исправленія всего человѣчества, не находятъ въ душѣ своей простого первобытнаго чувства человѣка къ человѣку? Неужели нѣтъ этого чувства, и мѣсто его заняли тщеславіе, честолюбіе и корысть, руководящія этихъ людей въ ихъ палатахъ, митингахъ и обществахъ? Неужели распространеніе разумной, себялюбивой ассоціаціи людей, которую называютъ цивилизаціей, уничто-

жаеть и противорѣчить потребности инстинктивной и любовной ассоціаціи? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершенно преступленій?».

Здѣсь подвергается сомнѣнію благо цивилизаціи. Въ исторіи мысли это, правда, не первое сомнѣніе въ цивилизаціи. Не съ графа Толстого, конечно, начинается отрицательное къ ней отношеніе. Но отношеніе это прекрасно оттѣняетъ скептицизмъ графа. Рассматривая цивилизацію, которою такъ горда современная Европа и содѣйствіе которой считается высшею заслугой cadaго человѣка, графъ Толстой старается пошатнуть этотъ новый кумиръ, старается показать то зло, которое несетъ съ собою эта прославленная цивилизація. И его нападки на нее отличаются мѣткостью и силою, хотя въ то-же время онѣ и односторонни: въ цивилизаціи не одно только зло. Вырастающее съ нею вмѣстѣ новое зло есть часто только необходимый спутникъ новаго блага, которое въ свою очередь нерѣдко бываетъ непримиримымъ врагомъ блага стараго, и если цивилизація дѣйствительно не можетъ совмѣстить въ одномъ моментѣ все то добро и благо, которыми пользовалось человѣчество въ различныя времена своей многовѣковой исторіи и которыя можно вложить въ непомѣрно требовательный идеальный критерій, то въ ней, какъ и во всякомъ другомъ состояніи человѣческихъ обществъ, есть свое благо, свои преимущества, свои источники наслажденій. И безпристрастный взглядъ не можетъ этого не замѣтить.

«Альбертъ» — маленькое, но художественное произведение, рисующее странную смѣсь душевной приниженности, убожества и величія въ лицѣ бѣднаго, спившагося, но талантливаго и восторженнаго виртуоза музыканта.

«Два гусара» — повѣсть съ преобладающимъ бытовымъ интересомъ. Это своего рода «Два поколѣнія», или «Отцы и дѣти». Только, изображая свои два поколѣнія, графъ Толстой имѣетъ въ виду не идеи или общественныя аспираціи, а просто характеры. Представитель отцовъ — графъ Ѳедоръ Турбинъ — принадлежитъ первому поколѣнію начала нынѣшняго столѣтія; сынъ его живетъ двадцатью годами позднѣе. Сопоставляя характеры этихъ двухъ гусаръ, авторъ вызываетъ на сравненіе и оцѣнку ихъ, и вы чувствуете, какъ симпатія ваша невольна склоняется въ сторону Турбина-отца, несмотря на то, что даже и не особенно строгая мораль нашла бы въ немъ не мало пороковъ. Графъ Ѳедоръ Турбинъ — своеобразное и удивительное произведеніе своего времени, того времени, «когда не было еще ни желѣзныхъ, ни шоссе-ныхъ дорогъ, ни газоваго, ни стеариноваго свѣта, ни пружинныхъ, низкихъ дивановъ, ни мебели безъ лаку, ни разочарованныхъ юношей со стеклышками, ни милыхъ дамъ-каamelій, которыхъ такъ много развелось въ наше время, — того наивнаго времени, когда изъ Москвы, выѣзжая въ Петербургъ, въ повозкѣ или въ каретѣ, брали съ собою цѣлую кухню домашняго приготовления, ѣхали восемь сутокъ по мягкой, пыльной или грязной дорогѣ и вѣрили въ пожарскія котлеты,

въ валдайскіе колокольчики и бублики, — когда въ длинные осенніе вечера нагараѣли сальныя свѣчи, освѣщая семейныя кружки изъ двадцати и тридцати человѣкъ, на балахъ въ канделябры вставлялись восковыя и спермацетовыя свѣчи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были молоды не однимъ отсутствіемъ морщинъ и сѣдыхъ волосъ, а стрѣлялись за женщинъ и съ другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и ненчаянно уроненныя платочки, наши матери носили коротенькія талии и огромныя рукава и рѣшали семейныя дѣла выниманіемъ билетиковъ; когда прелестныя дамы-камеліи прятались отъ дневного свѣта, — наивнаго времени масонскихъ ложъ, мартинистовъ, тугендбунда, времени Милорадовичей, Давыдовыхъ, Пушкиныхъ»...

Графъ Федоръ Турбинъ, случается, до крови разбиваетъ фізіономію своему лакею, травитъ станціоннаго зрителя собакой, бьетъ шулера и беретъ выигранныя имъ деньги, но беретъ не для себя: часть ихъ онъ отдастъ проигравшему казенныя суммы молоденькому корнету, другую бросаетъ поющему хору цыганъ. Увлечшись на балу хорошенькою вдовою, онъ добивается отъ нея разрѣшенія на поцѣлуй и, чтобы получить обѣщанное, бѣжитъ прямо изъ зала, въ одномъ мундирѣ, къ подъѣзду, забирается въ карету своей дамы, ждетъ ее и затѣмъ вмѣстѣ съ нею ѣдетъ въ ея домъ. Онъ часто забываетъ отдавать свои долги; наконецъ онъ умираетъ на дуэли съ какимъ-то иностранцемъ, котораго онъ высѣкъ арапникомъ. Но во всѣхъ его дѣйствіяхъ или, если хотите, во всѣхъ этихъ

безобразіяхъ столько смѣлой, искренней и безкорыстной жажды жизни, все это совершается у него такъ наивно, такъ естественно вытекаетъ изъ избытка молодой, рвущейся на просторъ силы, что какое-то внутреннее чувство противъ вашей воли дѣлаетъ его недоступнымъ для осужденій обычной морали и поднимаетъ его гораздо выше его аккуратнаго, сдержаннаго и расчетливаго сына, преданнаго заботамъ о своей карьерѣ, старающагося каждый день за чаемъ пить ромъ своего пріятеля, способнаго хладнокровно обыграть добрую старушку на ужасную для нея сумму въ преферансъ съ мизерами, въ которыхъ она ничего не понимаетъ, трусливо и пошло задумавшаго воспользоваться невинностью деревенской барышни и прилично уклонившагося отъ дуэли со своимъ сослуживцемъ, Полозовымъ, назвавшимъ его подлецомъ за эти нечистые замыслы. Не польстилъ авторъ «отцамъ», но по сердцу, по натурѣ человѣка ихъ время представляется намъ все-же лучшимъ, чѣмъ болѣе цивилизованное время «дѣтей». Съ этой точки зрѣнія и въ настоящей повѣсти можно подмѣтить тотъ-же мотивъ, что и въ «Люцернѣ».

Разсказъ «Три смерти» относится къ разряду тѣхъ художественныхъ параллелей, о которыхъ мы говорили выше. Въ немъ описаны три случая смерти: въ богатомъ, аристократическомъ домѣ, въ Москвѣ, умираетъ дама, въ бѣдной крестьянской избѣ умираетъ извозчикъ и... въ лѣсу умираетъ дерево. За чѣмъ понадобилась автору эта параллель? Что общаго можетъ быть въ смерти человѣка и въ смерти дерева?

Ужъ не фальшива-ли основная тема разсказа? Такіе вопросы приходятъ вамъ въ голову, когда отдѣлвшись отъ обаянія художественнаго впечатлѣнія, вы начинаете вдумываться въ эту оригинальную концепцію. Скоро, однако, недоумѣнія ваши разсѣиваются и передъ вами открывается идея, требующая подобнаго сопоставленія. Смерть — роковой и неизбѣжный законъ всего живого. Помимо воли и сознанія рождается и возникаетъ все живое, помимо воли и сознанія умираетъ, уступая свое мѣсто новой жизни. Фатально, просто и гармонически совершается это обновленіе жизни во всей природѣ; одинъ только человѣкъ вноситъ въ эту гармонію диссонансъ своимъ безсильнымъ, жалкимъ протестомъ, своимъ беспомощнымъ и какъ-бы умышленнымъ отчаяніемъ передъ неизбѣжностью смерти. Впрочемъ, и изъ людей далеко не всѣ поддаются этому отчаянію. Простые люди умираютъ просто и спокойно: только развитіе, только освободившіяся отъ фактовъ мысль и воображеніе, способныя въ одномъ моментѣ представить человѣку всю красоту и прелесть уходящей жизни, только они приводятъ его къ ужасу и къ безобразной судорогѣ безсмысленнаго сопротивленія.

Мучительно и непокорно умираетъ женщина изъ образованнаго общества. «Она знакомъ подозвала къ себѣ мужа.

— «Ты никогда не хочешь сдѣлать, что я прошу, сказала она слабымъ и недовольнымъ голосомъ.

— «Что, мой другъ?

— «Сколько разъ я говорила, что эти доктора



ничего не знаютъ: есть простыя лекарки, онѣ выле-  
чиваютъ... Вотъ батюшка говорилъ... мѣщанинъ...  
Пошли...

— «За кѣмъ, мой другъ?

— «Боже мой, ничего не хочетъ понимать!.. И  
больная сморщилась и закрыла глаза.

«Докторъ, подойдя къ ней, взялъ ея руку. Пульсъ  
замѣтно бился слабѣе и слабѣе. Онѣ мигнулъ мужу.  
Больная замѣтила этотъ жестъ и испуганно оглянү-  
лась. Кузина отвернулась и заплакала.

— «Не плачь, не мучь себя и меня, говорила боль-  
ная,—это отнимаетъ у меня послѣднее спокойствіе.

— «Ты ангель! сказала кузина, цѣлуя ея руку.

— «Нѣтъ, сюда поцѣлуй; только мертвыхъ цѣ-  
луютъ въ руку. Боже мой! Боже мой!

«Въ тотъ-же вечеръ больная уже была тѣло»...

Иначе умираетъ въ ямской избѣ извозчикъ Ѳедоръ.  
«Передъ ночью кухарка влѣзла на печь и черезъ его  
(больного) ноги достала тулупъ.

— «Ты на меня не серчай, Настасья проговорилъ  
больной,—скоро опростаю уголь-то твой.

— «Ладно, ладно... чтожъ, ничего, пробормотала  
Настасья.—Да что у тебя болить-то, дядя? Ты скажи.

— «Все нутро изныло. Богъ его знаетъ что.

— «Небось и глотка болить, какъ кашляешь?

— «Вездѣ больно. Смерть моя пришла—вотъ что.  
Охъ-охъ-охъ! простоналъ больной.

— «Ты ноги-то укрой, вотъ такъ, сказала На-  
стасья, по дорогѣ натягивая на него армякъ и  
слѣзая съ печи.

«Ночью въ избѣ слабо свѣтилъ ночникъ. Настасья и человѣкъ десять ямщиковъ съ громкимъ храпомъ спали на полу и по лавкамъ. Одинъ больной слабо кряхтѣлъ, кашлялъ и ворочался на печи. Къ утру онъ затихъ совершенно».

Но какъ ни проста и трогательна эта смерть, однако и она не можетъ сравняться съ тою красотою смерти, съ какою умираетъ дерево. Вотъ какъ описываетъ авторъ эту замѣчательно граціозную смерть: «Топоръ низомъ звучалъ глуше и глуше, сочные бѣлыя щепки летѣли на росистую траву, и легкій трескъ слышался изъ-за ударовъ. Дерево вздрогнуло всѣмъ тѣломъ, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на своемъ корнѣ. На мгновенье все затихло; но снова погнулось дерево, слышался трескъ въ его стволѣ и, ломая сучья и опустивъ вѣтви, оно рухнуло макушкой на сырую землю. Звукъ топора и шаговъ затихли, Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Вѣтка, которую она зацѣпила своими крыльями, покачалась нѣсколько времени и замерла, какъ и другія, со всѣми своими листьями. Деревья еще радостнѣе красовались на новомъ просторѣ своими неподвижными вѣтвями».

Небольшой разсказецъ «Метель» описываетъ всего только переѣздъ въ степи, съ одной станціи на другую, зимнею ночью, во время метели. Но этотъ простой разсказъ есть положительно перлъ въ художественномъ отношеніи. Разсказывать его содержаніе не стоить, передать его красоты невозможно, — его можно только читать да наслаждаться вырастающими

изъ строкъ картинами и образами, да удивляться той силѣ и художественной выразительности слова, до которой довелъ его графъ Толстой.

«Холстомѣрь» — новинка для русской публики. Этотъ своеобразный рассказъ впервые появился въ послѣднемъ изданіи сочиненій графа Толстого, хотя написанъ былъ еще въ 1861 году. Задуманъ этотъ рассказъ чрезвычайно оригинально: это — исторія лошади, исторія пѣгаго мерина Холстомѣра, имъ самимъ рассказанная другимъ лошадямъ. «Посерединѣ освѣщеннаго луной двора», такъ описываетъ авторъ обстановку этого рассказа, «стояла высокая, худая фигура мерина съ высокимъ сѣдломъ, съ торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и въ глубокомъ молчаніи стояли вокругъ него, какъ-будто онѣ что-то новое, необыкновенное узнали отъ него. И точно новое и неожиданное они узнали отъ него». Пять ночей рассказывалъ имъ меринъ свою исторію...

Благодаря этому оригинальному приему творчества, все произведеніе получаетъ нѣсколько фантастическій колоритъ и по духу своему напоминаетъ народныя, въ особенности восточныя сказанія. Но фантастичность эта нисколько не мѣшаетъ смѣлому реализму произведенія. Въ немъ изображается наша земная человѣческая жизнь, съ ея дѣйствительнымъ содержаніемъ, изображается съ правдою замѣчательною, только преломляется эта жизнь не въ глазу человека, а въ глазахъ другого существа — лошади. Авторъ смотритъ на жизнь не съ точки зрѣнія привычныхъ понятій, традиціонныхъ условностей и фик-

цій чоловіка: онъ ищетъ свободного, безпристрастного воззрѣнія на жизнь и приписываетъ его герою своего разсказа—старому мерину. Какъ дымъ разсѣивается въ этомъ воззрѣнніи самомнительная иллюзія чоловіка объ его исключительномъ достоинствѣ и призваніи и онъ является намъ только «бѣднымъ двуногимъ животнымъ», только особою зоологическою породою на землѣ. Эта мысль объ убожествѣ и животненности чоловіка до такой степени правдиво и послѣдовательно проведена черезъ весь разсказъ, что впечатлѣніе изъ него выносишь самое безотрадное и тяжелое.

Не весь разсказъ представляетъ собою исторію лошади, не весь и передается лошадыю. Нѣсколько страницъ его посвящены жизни бывшего хозяина этой лошади—князя Серпуховскаго. Но эта вторая исторія не механически только присоединена къ первой: она слита съ нею единствомъ художественной концепціи и единствомъ пессимистическаго тона; только изъ сопоставленія ихъ обѣихъ ярко и отчетливо выясняется передъ нами все содержаніе основной мысли произведенія. Только вторая часть и составляетъ насъ почувствовать бѣдность и искусственно разукрашенную ничтожность человѣческой жизни. Прочтите хотя-бы заключительныя строки разсказа, дышанія не только объективизмомъ, но почти отвращеніемъ къ чоловіку, и вы поймете, насколько впечатлѣніе разсказа обусловлено его послѣднею частью: «Ходившее по свѣту, ѣвшее и пившее, мертвое тѣло Серпуховскаго убрали въ землю гораздо

послѣ. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А какъ уже 20 лѣтъ всѣмъ въ великую тягость было его ходившее по свѣту мертвое тѣло, такъ и уборка этого тѣла въ землю была только лишнимъ затрудненіемъ для людей. Никому уже онъ давно былъ не нуженъ, всѣмъ уже давно онъ былъ въ тягость; но все-таки мертвые, хоронящіе мертвыхъ, нашли нужнымъ одѣть это тотчасъ-же загнившее тѣло въ хорошій мундиръ, въ хорошіе сапоги, уложить въ новый, хорошій гробъ, съ новыми кисточками на четырехъ углахъ, потомъ положить этотъ новый гробъ въ другой, свинцовый, и свезти его въ Москву и тамъ раскопать давнишнія людскія кости, и именно туда спрятать это гніющее, кишачее червями тѣло въ новомъ мундирѣ и вычищенныхъ сапогахъ, и засыпать все землею».

---

## V.

Рассказы изъ севастопольской и кавказской жизни.

Война — этотъ старинный и до сихъ поръ неизбѣжный фактъ исторіи — съ незапамятныхъ временъ привлекала къ себѣ интересъ и вниманіе человѣка и своимъ роковымъ значеніемъ возбуждала въ немъ чувство ужаса, удивленія и восторга. Съ незапамятныхъ временъ сдѣлалась она и предметомъ народнаго творчества. Каждый народъ имѣлъ свой героическій эпосъ и поприщемъ подвиговъ его героевъ была неизмѣнно война. Герои эти выросли въ народномъ воображеніи до необыкновенныхъ размѣровъ силы и мужества, самая-же война превращалась въ какую-то блестящую арену ихъ удивительныхъ подвиговъ и разсматривалась какъ-то отвлеченно, только въ ея общихъ результатахъ, въ торжествѣ побѣды или позорѣ пораженія, независимо отъ тѣхъ страданій и крови, изъ которыхъ она состояла въ дѣйствительности. Съ индивидуализаціей творчества не измѣнилось отношеніе поэзіи къ войнѣ. Писатели древняго міра, псевдо-классики и романтики, несмотря

на все разнообразіе ихъ міропониманія и ихъ литературныхъ пріемовъ, сошлись, однако, въ точкѣ зрѣнія на войну. Всѣ они изображали ее съ той стороны, съ которой видны только слава и доблесть ея дѣятелей. Не избѣгали они, правда, и ея ужасовъ, представляли ихъ даже, быть можетъ, гиперболически, но—лишь въ общей и безличной картинѣ, лишь какъ стихію войны, которая служила прекраснымъ фономъ для изумительныхъ дѣяній ея героевъ... Пришло время реализма въ искусствѣ; но и здѣсь прежняя иллюзія войны долго не уступала народившемуся стремленію къ правдѣ. Достаточно вспомнить, напримѣръ, «Полтаву» Пушкина—родоначальника нашихъ реалистовъ. И не только Пушкинъ, платящій еще значительную дань романтизму, но и такой несомнѣнный реалистъ, какъ Гоголь, передъ величіемъ войны отступаетъ отъ своей натуралистической манеры. Что такое война въ его «Тарасѣ Бульбѣ»? Это не жизнь массы человѣческихъ единицъ, думающихъ, чувствующихъ, страдающихъ отъ ранъ, истекающихъ кровью и умирающихъ; это — изображеніе .мощи и дикой силы запорожскаго характера, это—великолѣпная картина казацкой удали и разгула, вставленная въ эффектную раму истребленія и смерти.

Графъ Толстой первый подошелъ къ правдѣ войны и, сдернувъ навѣшанные на нее покрывала, смѣло взглянулъ въ лицо ея. Война никогда не является у него только пьедесталомъ славы какого-либо героя, только рамою, отгѣняющею чьи-либо подвиги. Онъ

интересуется самымъ процессомъ войны, онъ старается проникнуть и понять ея бурную хаотическую стихію, онъ анализируетъ и расчленяетъ ее на отдѣльныя событія, въ которыхъ она воплощается; онъ слѣдитъ не за движеніями массъ, но за судьбою каждой человѣческой единицы, потонувшей въ этихъ массахъ. И ему удается изъ этого моря людей, нивелированныхъ мундиромъ и дисциплиною, выдѣлать человѣческую личность и живыми чертами изобразить ея душу среди исключительной обстановки, созданной войною. Благодаря этому, всѣ участники войны, начиная отъ генерала и кончая послѣднимъ солдатомъ, становятся дѣйствительными героями его изображеній. Привязанный своимъ художническимъ интересомъ къ личности, онъ не покидаетъ ее втеченіе всего разсказа и никогда не заходитъ въ тѣ области созерцанія, гдѣ личность пропадаетъ и откуда видна только стратегическая схема дѣйствій; личность — цѣль его творчества, и онъ всюду съ нею: и на полѣ битвы, и въ ложементѣ, и въ солдатской казармѣ, и въ офицерской квартирѣ, и на городскомъ бульварѣ, и въ лазаретѣ; онъ показываетъ ее и въ моментъ опасности, подъ градомъ непріятельскихъ пуль и гранатъ, и въ моментъ отдыха, гдѣ-нибудь у горящаго костра, — показываетъ, что она ощущаетъ и думаетъ, какъ веселится въ свободную минуту, какъ шутить подъ свистящими пулями, какъ мучительно иногда боится, какъ отдается тщеславному чувству, мечтамъ о наградахъ, о славѣ, какъ спокойно и просто совершаетъ подвиги мужества и



великодушія и какъ мелочно, грубо и зло вздорить изъ-за какого-нибудь проиграннаго въ карты рубля; показываетъ, какъ создаются событія войны, какъ приказываютъ и какъ повинуются, какъ человѣкъ втыкаетъ штыкъ въ другого человѣка, какъ гранаты и бомбы рвутъ на части его тѣло, какъ падаетъ онъ въ грязь и кровь свалки, какъ стонетъ — раненый, какъ умираетъ—убитый...

Этотъ микроскопическій анализъ войны у графа Толстого явился новымъ и оригинальнымъ приѣмомъ творчества. Теперь-же онъ сдѣлался приѣмомъ необходимымъ: только такой анализъ и можетъ раскрыть дѣйствительную правду и смыслъ массовыхъ движеній. Современные художники поняли это и при изображеніи войны сознательно или бессознательно слѣдуютъ манерѣ графа Толстого.

Все сказанное нами объ истинно реалистическомъ представленіи войны относится ко всѣмъ произведеніямъ нашего художника, касающимся военныхъ событій. Но пока мы не будемъ говорить о крупнѣйшемъ и замѣчательнѣйшемъ изъ нихъ—о «Войнѣ и Мирѣ» — и ограничимся только севастопольскими и кавказскими рассказами. Рассказы эти явились раньше названнаго историческаго романа и въ нихъ впервые выразился тотъ смѣлый и глубокій взглядъ на жизненную правду войны, который впослѣдствіи съ такимъ неподражаемымъ искусствомъ авторъ проводилъ въ широкой картинѣ народныхъ движеній, вызванныхъ Наполеоновскими походами. Но кромѣ этого общаго всѣмъ рассказамъ взгляда, въ нихъ

свѣтитъ еще одна мысль, связывающая ихъ единствомъ содержанія,—мысль, почти неотступно преслѣдовавшая графа Толстого и сказавшаяся во многихъ его произведеніяхъ. Мысль эта открывается намъ изъ постоянного сопоставленія, въ однихъ и тѣхъ-же положеніяхъ войны, культурнаго человѣка, члена цивилизованнаго, городского общества, и простого солдата, первобытнаго сына деревни. Болѣе развитый умъ образованнаго человѣка, постоянно чувствующаго свое *я*, не можетъ не сознавать грозящихъ ему отовсюду опасностей войны, а потому естественно не можетъ не ощущать и страха передъ ними. Это ощущеніе страха неотступно слѣдуетъ за нимъ, прокрадывается въ душу при малѣйшей возможности опасности, и для того, чтобы не поддаться его власти, чтобы исполнить свой долгъ, чтобы не явиться трусомъ, онъ долженъ вести постоянную борьбу съ собою, долженъ напрягать свою нервную силу, долженъ искать опоры въ другихъ мотивахъ, способныхъ преодолѣть поднимающіяся побужденія боязни и самосохраненія. Образованный человѣкъ можетъ быть храбръ, можетъ отчаянно рисковать жизнью, но храбрость его—не спокойное мужество, а тревожное нервное состояніе, являющееся продуктомъ напряженной и сложной работы душевныхъ силъ. Совѣмъ другое—душа простого человѣка. Внутренній миръ его больше привязанъ къ факту, больше ограниченъ минутою настоящаго, больше опредѣляется изъ внѣшней дѣйствительности, чѣмъ изъ отвлеченныхъ состояній сознанія; но дѣйствительность войны, разложенная

на ея составные моменты, не есть только опасность: это прежде всего—рядъ обязанностей, лежащихъ на каждомъ солдатѣ и офицерѣ, это—разныя непредвидѣнныя случайности, это—непрерывно смѣняющіяся впечатлѣнія, то тяжелыя, подавляющія, то радостныя, то комическія. И простой человѣкъ живетъ этими впечатлѣніями и, занятый своимъ дѣломъ, не думаетъ объ опасности. Поэтому для него какъ-бы не существуетъ самой опасности и онъ можетъ спокойно и просто дѣлать то, что надо, можетъ спокойно и просто совершать истинныя чудеса храбрости и героизма, не сознавая ни мѣры своего риска, ни значенія своихъ подвиговъ.

Это глубокое различіе въ душевномъ строѣ культурнаго и простого человѣка, прекрасно подмѣченное графомъ Толстымъ, и есть тотъ мотивъ, который проходитъ черезъ всѣ его рассказы изъ военного быта.

Для иллюстраціи взглядовъ автора на этотъ предметъ, мы позволимъ себѣ привести параллельно нѣкоторыя сцены изъ его севастопольскихъ рассказовъ.

Вотъ что чувствовалъ адъютантъ Калугинъ (человѣкъ изъ петербургскаго общества), подъѣзжая къ одному изъ бастіоновъ Севастополя во время жаркой канонады: — «Ахъ, скверно! — подумалъ онъ, испытывая какое-то непріятное чувство, и ему тоже пришло предчувствіе, то есть мысль очень обыкновенная—мысль о смерти. Но Калугинъ былъ самолюбивъ и одаренъ деревянными нервами, то, что называютъ храбръ, однимъ словомъ. Онъ не поддался

первому чувству и сталъ ободрять себя, вспомнилъ про одного адъютанта, кажется, Наполеона, который, передавъ приказаніе, маршъ-маршъ, съ окровавленной головой подскакалъ къ Наполеону.

— «*Vous êtes blessé?*» сказалъ ему Наполеонъ.—«*Je vous demande pardon, sire, je suis mort*»,—и адъютантъ упалъ съ лошади и умеръ на мѣстѣ.

«Ему показалось это очень хорошо, и онъ вообразилъ себя даже немножко этимъ адъютантомъ, потомъ ударилъ лошадь плетью и принялъ еще болѣе лихую казацкую посадку, оглянулся на казака, который стоя на стремянахъ рысиль за нимъ, и совершеннымъ молодцомъ пріѣхалъ къ тому мѣсту, гдѣ надо было слѣзать съ лошади... Онъ пошелъ по траншеѣ въ гору, на каждомъ шагу встрѣчая раненыхъ. Поднявшись въ гору, онъ повернулъ налѣво и, пройдя по ней нѣсколько шаговъ, очутился совершенно одинъ. Близехонько отъ него прожужжалъ осколокъ и ударился въ траншею. Другая бомба поднялась передъ нимъ и, казалось, летѣла прямо на него. Ему вдругъ сдѣлалось страшно; онъ рысью пробѣжалъ шаговъ пять и прилетѣ на землю. Когда-же бомба лопнула далеко отъ него, ему стало ужасно досадно на себя и онъ всталъ, оглядываясь, не видалъ-ли кто его паденія; но никого не было.

«Уже разъ проникнувъ въ душу, страхъ не скоро уступаетъ мѣсто другому чувству. Онъ, который всегда хвастался, что никогда не нагибается, ускоренными шагами и чуть не ползкомъ пошелъ по траншеѣ. «Ахъ! нехорошо!» подумалъ онъ, споты-

кнувшись, «непремѣнно убьютъ»; и чувствуя, какъ трудно дышалось ему и какъ потъ выступалъ по всему тѣлу, онъ удивлялся самому себѣ, но уже не пытался преодолѣть своего чувства. Вдругъ гдѣ-то шаги слышались впереди его. Онъ быстро разогнулся, поднялъ голову и, бодро побрякивая саблей, пошелъ уже не такими скорыми шагами, какъ прежде. Онъ не узнавалъ себя. Когда онъ сошелся со встрѣтившимся ему сапернымъ офицеромъ и матросомъ и первый крикнулъ ему: «ложитесь!», указывая на свѣтлую точку бомбы, которая, свѣтлѣе и свѣтлѣе, быстро приближаясь, шлепнулась около траншеи, онъ только немного и невольно, подъ вліяніемъ испуганнаго крика, нагнулъ голову и пошелъ дальше.

— Вишь, какой бравый! сказалъ матросъ, который преспокойно смотрѣлъ на падавшую бомбу и опытнымъ глазомъ сразу расчелъ, что осколки ея не могутъ задѣть въ траншеѣ:—и ложиться не хочетъ.

«Уже нѣсколько шаговъ только оставалось Калугину перейти черезъ площадку до блиндажа командира бастіона, какъ опять на него нашли затмѣніе и этотъ глупый страхъ; сердце забилося сильнѣе, кровь хлынула въ голову, и ему нужно было усиліе надъ собою, чтобы пробѣжать до блиндажа».

А вотъ сценка изъ солдатскаго быта, также въ севастопольской траншеѣ, также подъ непріятельскими выстрѣлами:

«Около порога (блиндажа) сидѣли два старыхъ и одинъ молодой, курчавый солдатъ, изъ жидовъ, прикомандированный изъ пѣхоты. Солдатъ этотъ,

поднявъ одну изъ валявшихся пуль и черенкомъ расплюснувъ ее о камень, ножомъ вырѣзалъ изъ нея крестъ на манеръ георгіевскаго; другіе разговаривая смотрѣли на его работу. Крестъ дѣйствительно выходилъ очень красивъ.

«— А что, какъ еще постоимъ здѣсь сколько-нибудь, говорилъ одинъ изъ нихъ,—такъ по замиреніи всѣмъ въ отставку срокъ выйдетъ.

«— Какже, мнѣ и то всего четыре года до отставки оставалось, а теперь пять мѣсяцевъ простоялъ въ Севастополѣ.

«— Къ отставкѣ не считается, слышь, сказалъ другой.

«Въ это время ядро просвистѣло надъ головами говорившихъ и въ аршинъ ударилося отъ Мельникова (солдата), подходившаго къ нимъ по траншеѣ.

«— Чуть не убило Мельникова, сказалъ одинъ

«— Не убьетъ, отвѣчалъ Мельниковъ.

«— Вотъ на-же тебѣ крестъ за храбрость, сказалъ молодой солдатъ, дѣлавшій крестъ, отдавая его Мельникову.

«— Нѣтъ, братъ, тутъ, значитъ, мѣсяцъ за годъ ко всему считается — на то приказъ былъ, продолжался разговоръ.

«— Какъ ни суди, безпремѣнно по замиреніи сдѣлаютъ смотръ царскій въ Оршавѣ, и коли не отставка, такъ въ безсрочные выпустятъ.

«Въ это время визгливая, зацѣпившаяся пулька пролетѣла надъ самыми головами разговаривавшихъ и ударила о камень.

« — Смотри, еще до вечера въ *чистую* выйдешь, сказалъ одинъ солдатъ.

«Всѣ засмѣялись.

«И не только до вечера, но черезъ два часа уже двое изъ нихъ получили чистую, а пять были ранены; но остальные шутили точно такъ же».

Сравните теперь адъютанта Калугина съ этими солдатами. Невѣроятнымъ кажется, что это существа одной породы: до такой степени велика бездна ихъ раздѣляющая, до такой степени ничтожно сходство ихъ отношеній къ одной и той-же возможности смерти! Аффектированная храбрость Калугина, вызванная красивыми мечтами и тщеславнымъ чувствомъ, глубоко чужда душѣ этихъ солдатъ, точно также какъ ихъ изумительное спокойствіе и наивная покорность судьбѣ совершенно недоступны душѣ свѣтскаго адъютанта.

Калугинъ отнюдь не исключительная личность въ русскомъ военномъ быту, какъ представляетъ его графъ Толстой. Къ нему примыкаетъ цѣлая группа родственныхъ ему по духу Гальциныхъ, Праскухиныхъ, Болховыхъ, Розенкранцевъ, Михайловыхъ; съ другой стороны, выведенный типъ душевной простоты и спокойствія обнимаетъ огромный солдатскій міръ, захватывая въ него и многихъ, преимущественно армейскихъ, офицеровъ, вродѣ капитана Хлопова, который и подъ непріятельскими ядрами остается «такимъ-же, какъ и всегда», и совершенно не понимаетъ, зачѣмъ это нужно казаться чѣмъ-нибудь?

Что-же образовало эти двѣ столь различныя груп-

пы, что провело между ними эту бездну? Цивилизація, говорить намъ авторъ. Это она создала Калугиныхъ, Болховыхъ и Розенкранцевъ и, оторвавъ ихъ отъ естественности и правды, которая сохранилась еще въ нашемъ народѣ, унесла на ту сторону бездны, гдѣ царить ложь и тщеславіе. Мысль, приведшая автора къ такому воззрѣнію на жизнь, не укладывается ни въ одну изъ ходячихъ доктринъ; мысль эта несравненно глубже и радикальнѣе: она отправляется не отъ противоположенія западной и славянской культуръ, не отъ предпочтенія основъ народной жизни,—она беретъ цивилизацію вообще и видитъ въ ней какую-то роковую и колоссальную ошибку человѣчества, какое-то злое начало, нарушившее правду и гармонію природы.

Эта-же идея, только въ еще болѣе чистомъ и яркомъ выраженіи, нашла себѣ мѣсто въ прелестной, замѣчательно-поэтической повѣсти «Казакѣ». — Давно, давно какіе-то казаки—старовѣры «бѣжали изъ Россіи и поселились за Терекомъ, между чеченцами, на Гребнѣ, первомъ хребтѣ лѣсистыхъ горъ Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки сроднились съ ними и усвоили себѣ обычаи, образъ жизни и нравы горцевъ; но удержали и тамъ, во всей прежней чистотѣ, русскій языкъ и старую вѣру». Этотъ-то своеобразный казацкій мірокъ и описываетъ графъ Толстой въ своей повѣсти. Вся жизнь этого рѣзко-обособленнаго мірка, этого миниатюрнаго человѣческаго общества—и въ обычномъ ея содержаніи, и въ ея исключительныхъ, крупныхъ событіяхъ—от-



разилась въ изображеніи графа Толстого, отчего самое изображеніе получило характеръ удивительной художественной законченности и полноты. За предѣлами этой казацкой станицы живутъ, правда, другіе люди, течетъ другая жизнь, но она не смѣшивается съ жизнью казаковъ, и если даже врывается въ нее, то чуждыми ей потоками, неспособными нарушить ея первобытной цѣльности. «Еще до сихъ поръ казацкіе роды считаются родствомъ съ чеченскими, и любовь къ свободѣ, праздности, грабежу и войнѣ составляетъ главную черту ихъ характера»... «Казакъ большую часть времени проводитъ на кордонахъ, въ походахъ, на охотѣ или рыбной ловлѣ. Онъ почти никогда не работаетъ дома. Пребываніе его въ станицѣ есть исключеніе изъ правила, и тогда онъ гуляетъ. Вино у казаковъ у всѣхъ свое, и пьянство есть не столько общая всѣмъ склонность, сколько обрядъ, неисполненіе котораго сочлось-бы за отступничество. На женщину казакъ смотритъ какъ на орудіе своего благосостоянія; дѣвкѣ только позволяетъ гулять, бабу-же заставляетъ съ молодости и до глубокой старости работать для себя, и смотритъ на женщину съ восточнымъ требованіемъ покорности и труда». Какова-же должна быть личность человѣка при такомъ строѣ жизни? Графъ Толстой съумѣлъ заглянуть въ душу этихъ людей и создалъ цѣлый рядъ оригинальныхъ въ ихъ естественности и простотѣ и глубоко-правдивыхъ характеровъ. На первомъ планѣ вы видите дядю Ерошку. Это старый бобыль, неутомимый охотникъ, веселый собесѣдникъ

и гуляка, но въ то-же время онъ, если хотите, и свободный мыслитель и гуманистъ станицы. Посмотрите, до чего онъ додумался въ своихъ одинокихъ скитаніяхъ среди величественной кавказской природы: «Я бывало со всѣми кунакъ. Татаринъ—татаринъ; армяшка—армяшка; солдатъ—солдатъ; офицеръ—офицеръ. Мнѣ все равно, только-бы пьяница былъ. Ты, говорить, очиститься долженъ отъ міра сообщенія: съ солдатомъ не пей, съ татаринѣмъ не ѣшь.

«— Кто это говорить? спросилъ Оленинъ.

«— А уставщики наши. А муллу или кадія татарскаго послушай, — онъ говорить: «вы невѣрные гяуры, зачѣмъ ѣдите?» Значить, всякій свой законъ держить. А по моему все одно. Все Богъ сдѣлалъ на радость человѣку. Ни въ чемъ грѣха нѣтъ. Хотя съ звѣря примѣръ возьми. Онъ и въ татарскомъ камышѣ живетъ, и въ нашемъ живетъ. Куда придетъ, тамъ и домъ. Что Богъ далъ, то и лопаешь. А наши говорить, что за это будемъ сковороды лизать. Я такъ думаю, что все одна фальшь, прибавилъ онъ помолчавъ.

«— Что фальшь? спросилъ Оленинъ.

«— Да что уставщики говорить. У насъ, отецъ мой, въ Червленной войсковой старшина—кунакъ мнѣ былъ... Такъ онъ говорилъ, что это все уставщики изъ своей головы выдумываютъ. Сдохнешь, говорить, трава вырастетъ на могилѣ, вотъ и все (старикъ засмѣялся).

Въ чувствахъ и симпатіяхъ своихъ дядя Ерошка

вполнѣ самостоятеленъ и независимъ отъ общественнаго мнѣнія станицы. Среди всеобщаго ликованія казаковъ въ то утро, когда Лукашка убилъ абрека, одинъ онъ не радуется. Убійство, хотя-бы и врага, вызываетъ въ немъ не радость, а чувство глубокаго сожалѣнія.

«— Чего не видать! съ сердцемъ сказалъ старикъ (когда Лукашка показывалъ ему трупъ убитаго абрека), и что-то серьезное и строгое выразилось въ лицѣ старика.— Джигита убилъ, сказалъ онъ какъ-будто съ сожалѣніемъ».

Кромѣ дяди Ерошки, къ выдающимся персонажамъ повѣсти можно причислить Лукашку, представителя казацкой силы и удали, и строгую красавицу Марьянку—эту своеобразную пару влюбленныхъ; далѣе слѣдуютъ Назарка, пріятель и неизмѣнный сподвижникъ Лукашки, старый и безтолковый казакъ Ергушка, хорошенькая и веселая Устенъка, мать Марьянки, мать и сестра Лукашки и др. Мы не будемъ останавливаться на характеристикѣ каждаго изъ этихъ лицъ; скажемъ только, что всѣ они запечатлѣны чертами яркой индивидуальности, живы, выразительны, поэтичны и въ то-же время всѣ они вѣрны тому психологическому типу простого, некультурнаго человѣка, который только и могъ сложиться въ условіяхъ ихъ первобытной, изолированной жизни.

Вотъ въ этотъ-то уголокъ Кавказа, къ этимъ-то людямъ попадаетъ герой повѣсти, «молодой чловѣкъ» изъ московскаго общества—Оленинъ. Принадлежа къ тому классу русскаго народа, который пу-

темъ постепеннаго историческаго открьпленія совершенно освободился отъ всѣхъ органическихъ связей съ государствомъ и обществомъ; живя въ то время, которое съ раннихъ лѣтъ разрушило въ немъ всякую вѣру; настолько богатый, чтобы не быть рабомъ нужды; безъ семьи, безъ опредѣленнаго дѣла,—Оленинъ, свободный и ищущій счастья, стоялъ среди жизни и раздумывалъ надъ тѣмъ, что ему сдѣлать изъ себя, куда положить ему свои молодыя силы. Онъ много увлекался, успѣлъ промотать на разные городскія удовольствія половину своего состоянія, но въ душѣ его жила та благородная и протестующая требовательность, та эгоистическая, но высокая жажда счастья, которая не позволила ему удовлетвориться этими жалкими подачками жизни, заставила признать ихъ случайными и незначительными, заставила искать новой жизни, безъ прежнихъ ошибокъ, безъ постоянного раскаянія. Поприщемъ этой новой жизни онъ, по установившейся для всѣхъ неудовольствованныхъ натуръ традиціи, выбралъ Кавказъ, соединяющійся въ его представленіи «съ образами Амалать-бековъ, черкешенокъ, горъ, обрывовъ, страшныхъ потоковъ и опасностей», и обѣщающій славу и какую-то заманчивую неизвѣстность. Пріѣхавъ на Кавказъ и поселившись въ описанной станицѣ Гребенскихъ казаковъ, Оленинъ нашелъ совсѣмъ не то, что ожидалъ; но то, что онъ нашелъ, оказалось неожиданно хорошимъ. «Никакихъ здѣсь нѣтъ бурокъ, стремнинъ, Амалать-бековъ, героевъ и злодѣевъ». думалъ онъ, познакомившись съ дѣйствительностью

кавказской жизни; «люди живутъ, какъ живетъ природа; умираютъ, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьютъ, ѣдятъ, радуются, и опять умираютъ,—и никакихъ условій, исключая тѣхъ неизмѣнныхъ, которыя положила природа солнцу, травѣ, звѣрю, дереву. Другихъ законовъ у нихъ нѣтъ»... И оттого люди эти въ сравненіи съ нимъ самимъ казались ему прекрасны, сильны, свободны, и глядя на нихъ ему становилось стыдно и грустно за себя. Правда и поэзія этой жизни влекла его къ себѣ и ему приходила иногда въ голову серьезная мысль—приписаться въ казаки, купить избу, скотину, жениться на казачкѣ и жить съ дядей Ерошкой, Лукашкой, со всей станицей. Но смутное сознаніе невозможности для него такой жизни удерживало его. Критическое отношеніе къ себѣ, потребность сознательныхъ цѣлей сохранилась у него и здѣсь, и онъ выдумалъ для себя особую теорію счастья, по которой оно достигалось только любовью къ другому, только самоотверженіемъ. Въ этой теоріи онъ спасался отъ подступавшей иногда тоски одиночества, отъ зависти къ чужому счастью. Не долго однако выдержала эта теоретическая крѣпость передъ натискомъ природы, передъ стремленіемъ истинной страсти. «Пришла красота и въ прахъ разсѣяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу»... Оленинъ полюбилъ красавицу Марьяну. Любовь пришла незамѣтно и постепенно. Сначала онъ любовался ею, какъ совершенствомъ природы, и зная, что ее выдаютъ за Лукашку, находилъ особенное удовольствіе

покровительствовать ихъ любви и дѣлать добро для Лукашки; но мало-по-малу росла и развивалась страсть и наконецъ достигла той степени силы и власти, когда все счастье, весь смыслъ жизни сосредоточиваются въ любимомъ существѣ. Какъ холодное и искусственное построение ума, какъ «вздоръ и дичь», отбросилъ онъ теперь свою теорію самоотверженія; теперь онъ все готовъ былъ сдѣлать, чтобы только покорить душу любимой Марьяны, чтобы забросить въ нее хоть искру сочувствія изъ своей пылающей груди. И вотъ теперь-то онъ мучительно чувствуетъ проклятіе своего прошлаго, чувствуетъ свое безсиліе, сознаетъ, что «не для него эта женщина, это единственно возможное на свѣтѣ счастье». Онъ знаетъ, что она никогда не пойметъ его. «Она счастлива, — пишетъ онъ: — она, какъ природа, равна, спокойна и сама въ себѣ. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтобы она поняла мои уродства и мои мученія... Вотъ ежели-бы я могъ сдѣлаться казакомъ Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться пѣснями, убивать людей и пьянымъ влѣзать къ ней въ окно на ночку, безъ мысли о томъ, кто я и зачѣмъ я—тогда-бы другое дѣло, тогда-бы мы могли понять другъ друга, тогда-бы я могъ быть счастливъ. Я пробовалъ отдаваться этой жизни, — и еще сильнѣе чувствовалъ свою слабость, свою изломанность. Я не могъ забыть себя и своего сложнаго, не гармоническаго, уродливаго прошедшаго». И Оленинъ правъ въ своемъ отчаяніи: Марьяна дѣйствительно отталкиваетъ его...

Вѣрна или невѣрна сама по себѣ указанная нами выше идея о неизбѣжномъ злѣ цивилизаціи, разсма-триваемая повѣсть остается во всякомъ случаѣ вы-соко-художественнымъ и правдивымъ произведеніемъ. Оленинъ, съ своимъ развитымъ умомъ и утончен-нымъ цивилизаціей чувствомъ, могъ полюбить кра-соту первобытной, неиспорченной женской природы, явившейся ему въ образѣ Марьяны; Марьяна-же, поставленная съ своимъ сердцемъ въ положеніе судьи между Оленинымъ и Лукашкой, совершенно есте-ственно предпочитаетъ послѣдняго. Не умѣя понять даровъ духа, которыми культура наградила Оленина, она въ то-же время прекрасно чувствуетъ въ немъ недостатокъ тѣхъ достоинствъ природы и силы, ко-торыми обладаетъ Лукашка. Оленинъ побѣжденъ въ этой борьбѣ за счастье любви, и побѣжденъ благодаря своему «сложному, негармоническому, уродливому про-шлему», данному ему цивилизованнымъ обществомъ.

---

## VI.

### „Семейное счастье“.

Кого не прельщали мечты любви, кого не увлекала ея чудная поэзія, кто не искалъ ея высокихъ восторговъ!.. Вѣчно поетъ о ней пѣсни, поэты не устаютъ говорить о ней, и слова ихъ все также свѣжи и сильны, какъ прежде, также доступны сердцу человѣка, также властны будить въ немъ заснувшія воспоминанія и поднимать золотыя надежды новаго счастья. Любовь — это великая потенція человѣка, чарующій источникъ наслажденія, красоты и поэзіи, это—свѣтозарная вершина жизни, непреодолимыми силами влекущая къ себѣ все живое. Надѣляя человѣка способностью любви, природа, казалось, хотѣла вознаградить его за всѣ страданія, за бѣдность и пошлость жизни, хотѣла дать ему дорогое и несомнѣнное благо.

Графъ Толстой, пытливо ищущій въ жизни того, что могло бы удовлетворить человѣка, не могъ не отмѣтить, конечно, этого выдающагося блага. Онъ отозвался на него романомъ «Семейное счастье». Ро-



манъ этотъ выражаетъ какъ-бы чистый законъ любви. Все лишнее, осложняющее, устранено изъ него съ такою тщательностью, что онъ производитъ впечатлѣніе почти психологическаго эксперимента. Въ немъ, въ сущности, только два дѣйствующихъ лица—онъ и она, Сергѣй Михайловичъ и Маша. Его фабула проста до полного отсутствія всякихъ внѣшнихъ событий, и все содержаніе его исчерпывается естественною и необходимою драмою чувства.

Завязка романа сводится къ тому, что Сергѣй Михайловичъ, помѣщикъ тридцати-шести лѣтъ, полюбилъ свою сосѣдку по имѣнію, красивую семнадцатилѣтнюю дѣвушку Машу. Она отвѣчала ему самой полной и искренней взаимностью. Любовь ихъ была нѣжная и сильная, стыдливая и гордая, чистая и прозрачная, но въ то-же время это не былъ только плодъ воображенія, только надуманная прекрасная мечта: это было истинное, человѣческое чувство, согрѣтое и обвѣянное дыханіемъ страсти, сдержанное и поднятое идеальными стремленіями. Любовь соединила ихъ: они сдѣлались мужемъ и женой. Началась семейная жизнь, открылась возможность «семейнаго счастья...» «Бракъ есть высочайшая награда любви», писалъ когда-то Бѣлинскій, и многіе идеалисты думаютъ вмѣстѣ съ нимъ, что бракъ—это непреходящее и немеркнувшее счастье любви, что семья—это какой-то зачарованный міръ, гдѣ вѣчно разлито поэтическое сіяніе молодой страсти.

Не такъ смотреть на семейную жизнь нашъ художникъ. Два мѣсяца Сергѣй Михайловичъ и его

молодая жена были дѣйствительно счастливы. Жизнь ихъ была не хуже ихъ прежнихъ мечтаній. «Не было этого строгаго труда, писать Маша, исполненія долга, самопожертвованія и жизни для другого, что я воображала себѣ, когда была невѣстой; было, напротивъ, одно себялюбивое чувство любви другъ къ другу, желаніе быть любимымъ, безпричинное, постоянное веселье и забвеніе всего на свѣтѣ...» Но «прошло два мѣсяца, пришла зима съ своими холодами и метелями, и я, несмотря на то, что онъ былъ со мною, начинала чувствовать себя одинокою, начинала чувствовать, что жизнь повторяется, и нѣтъ ни во мнѣ, ни въ немъ ничего новаго, а что, напротивъ, мы какъ будто возвращаемся къ старому. Онъ началъ заниматься дѣлами безъ меня больше чѣмъ прежде, и опять мнѣ стало казаться, что есть у него въ душѣ какой-то особый міръ, въ который онъ не хочетъ впускать меня. Его всегдашнее спокойствіе раздражало меня». Итакъ, черезъ два мѣсяца уже легкая тѣнь набѣжала на взаимныя отношенія мужа и жены, и едва замѣтная трещинка уже расколола гармонію ихъ свѣтлаго счастья. Замѣтивъ состояніе своей жены, Сергѣй Михайловичъ предложилъ переѣхать на зиму въ Петербургъ. Здѣсь они вошли въ свѣтскую жизнь и Маша увлеклась ею больше, чѣмъ ожидалъ и хотѣлъ ея мужъ, здѣсь произошла первая размолвка, прокралось первое непониманіе другъ друга, сказалось первое жесткое слово, поднялась первая мысль осужденія — и навсегда исчезли прелесть и счастье прежнихъ отношеній. «Прежнія наши отно-

шенія, рассказываетъ Маша, когда бывало всякая непереданная ему мысль, впечатлѣніе, какъ преступленіе, тяготило меня, когда всякій его поступокъ, слово, казались мнѣ образцомъ совершенства, когда намъ отъ радости смѣяться чему-то хотѣлось, глядя другъ на друга,—эти отношенія такъ незамѣтно перешли въ другія, что мы и не хватились, какъ ихъ не стало. У каждого изъ насъ явились свои интересы, заботы, которые мы уже не пытались сдѣлать общими...» «Когда мы оставались одни, что случалось рѣдко, я не испытывала съ нимъ ни радости, ни волненія, ни замѣшательства, какъ будто я сама съ собой оставалась. Я знала очень хорошо, что это былъ мой мужъ, не какой-нибудь новый, неизвѣстный человѣкъ, а хорошій человѣкъ,—мужъ мой, котораго я знала, какъ самое себя. Я была увѣрена, что знала все, что онъ сдѣлаетъ, что скажетъ, какъ посмотритъ... Я ничего не ждала отъ него. Однимъ словомъ, это былъ мой мужъ и больше ничего».

Что-же случилось? Ничего особеннаго, ничего неожиданнаго. Никто изъ нихъ не совершилъ дурного или позорнаго поступка, ничто не измѣнилось изъ внѣшнихъ условій ихъ жизни; не было даже неизбежнаго почти въ каждой семейной драмѣ третьяго лица, которое-бы стало между ними и, возбудивъ чувство къ себѣ, разрушило ихъ прежній союзъ; поводомъ къ ихъ размолвкамъ и несогласіямъ служили всегда такія маленькія, ничтожныя, повседневныя обстоятельства: ей хотѣлось на балы,—его тянуло въ деревню; она болтала съ кузиною про свои семейныя

отношенія,—его оскорбляло это легкомысленное зазѣваніе въ святиню его чувства. Можно-бы думать, что настоящею причиною паденія ихъ счастья было несходство возрастовъ: ему было 36 лѣтъ, ей 17, онъ пережилъ уже всевозможныя увлеченія въ жизни, передъ ней они только теперь раскрывались. Но развѣ лучше было-бы для ихъ любви, еслибы оба они увлекались удовольствіями свѣта, различными приманками столичной жизни, еслибы вмѣсто испытаннаго жизнью человѣка, старающагося оберегать дорогое сокровище своей любви, ея мужемъ былъ-бы какой-нибудь юноша, легкомысленно отдающійся всѣмъ соблазнамъ: развѣ не скорѣе еще погибло-бы тогда ихъ взаимное счастье? Нѣтъ, не отъ того исчезло оно. Человѣкъ слишкомъ бѣденъ, ограниченъ и неподвиженъ, чтобы надолго удовлетворить то громадное требованіе совершенства, которое присуще любви. Вотъ истинная причина ея неизбѣжнаго увяданія. Страсть поднимаетъ человѣка на такую высоту душевныхъ настроеній и ожиданій, вызываетъ въ немъ такія нѣжныя, интимныя чувства, держится на такихъ тонкихъ и хрупкихъ отношеніяхъ, для которыхъ губительными оказываются легчайшія прикосновенія грубой дѣйствительности. А такія прикосновенія въ жизни неизбѣжны, и прежде всего и больнѣе всего мы чувствуемъ ихъ отъ любимаго человѣка. Истинная страсть — какъ-будто не отъ міра сего. Какъ экзотическое произведеніе какой-то невѣдомой сферы, она не можетъ долго жить на землѣ; какъ лучезарный эфемеридъ, она слетаетъ къ человѣку только

на нѣсколько мгновеній... Психологическій процессъ увяданія страсти составляетъ, какъ мы уже сказали, основное содержаніе разсматриваемаго романа и проведенъ въ немъ съ обычнымъ мастерствомъ и правдивостью нашего художника.

Но что-же остается отъ семейнаго счастья?—«Съ этого дня кончился мой романъ съ мужемъ; старое чувство стало дорогимъ, невозвратнымъ воспомина-  
ніемъ, а новое чувство любви къ дѣтямъ и къ отцу моихъ дѣтей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я еще не прожила въ настоящую минуту...», такъ заканчиваетъ авторъ свое произведеніе, и показавъ намъ яркую картину паденія прежняго счастья, опускаетъ занавѣсъ передъ началомъ какого-то смутнаго, нераскрытаго счастья новой жизни.

---

## VII.

### „Война и Миръ“.

Справедливо было указано нашею критикою, что «Война и Миръ» графа Толстого есть явленіе безпримѣрное во всей литературѣ новаго времени. Сравнить это монументальное произведеніе можно только съ эпическими созданіями древности—съ Иліадой, Одиссеей или Нибелунгами. Только съ ними соизмѣрима «Война и Миръ» по широтѣ ея захвата, по универсальности ея содержанія: какъ и въ нихъ, въ ней отразилась вся жизнь народа въ извѣстную эпоху; какъ и въ нихъ, изображаемая жизнь раздвинута въ ней великими историческими событіями далеко за предѣлы ея спокойнаго, будничнаго, мирнаго теченія. Едва-ли можно указать такія возможности жизни, которыхъ-бы не коснулась эта грандіозная эпопея; едва-ли можно указать тотъ душевный мотивъ, то чувство, страсть, способность, тотъ складъ ума и характера, которыя-бы не были изображены словно всевѣдущимъ авторомъ. Лица разнообразнѣйшихъ положеній—отъ властелина полу-Европы, какимъ былъ

Наполеонъ, до послѣдняго нищаго; событія—отъ пер-  
ваго пробужденія робкаго и нѣжнаго чувства въ душѣ  
молодой дѣвушки до громадныхъ и страшныхъ столк-  
новеній многотысячныхъ массъ, каковы Аустерлиц-  
кое и Бородинское сраженія; нравственные проявле-  
нія личности—отъ сцены отвратительной борьбы алч-  
ныхъ наслѣдниковъ возлѣ постели умирающаго до  
истинно-человѣческой любви, до искренней жажды  
добра, до подвига несомнѣннаго героизма—все нашло  
себѣ мѣсто въ этой гигантской картинѣ, все нашло  
свой образъ, облеклось въ художественную, гармони-  
ческую, вѣчно-прекрасную форму. Невольно пора-  
жаешься этимъ богатствомъ творчества, этой неисто-  
щимостью поэтического вымысла, этимъ изумитель-  
нымъ всепониманіемъ автора и только въ этомъ  
произведеніи, только прочтя «Войну и Миръ», начи-  
наешь постигать необыкновенную личность и вели-  
кій геній нашего писателя.

Но эпопея въ девятнадцатомъ вѣкѣ! Возможно-ли  
это? Всѣ извѣстныя намъ эпопеи древности сложи-  
лись на зарѣ исторіи, въ періодъ дѣтства народовъ,  
когда міросозерцаніе человѣка было просто, наивно  
и опредѣленно, когда категоріи добра и зла созна-  
вались всѣми ясно и совершенно одинаково. Но какъ  
возможна эпопея въ наше неимовѣрно усложнившее-  
ся и спутавшееся время, когда всякій народъ раз-  
дробился на множество отдѣльныхъ группъ, едва спо-  
собныхъ понимать другъ друга? Какому воззрѣнію  
подчинить художникъ свое творчество, въ какой идеѣ  
обниметь изображаемую имъ жизнь, когда передъ

нимъ столько нерѣшенныхъ проблемъ мысли, столько сомнѣній и, главное, столько искусственныхъ системъ, столько произвольныхъ, взаимно исключающихъ утверждений? Выбрать идею условную и ограниченную, идею партіи или доктрины, и извратить въ угоду ей художественную правду своего произведенія, или-же, отрѣшившись отъ всякой идеи, лишить его внутренняго единства и создать только длинный рядъ механически слитыхъ сценъ и картинокъ—вотъ, казалось-бы, неизбѣжная альтернатива, ожидающая всякаго, кто задумалъ-бы въ наше время написать эпопею.

И однако-же, сравнивая «Войну и Миръ» съ эпическими произведеніями древности, мы ясно видимъ, что, не смотря на глубокое различіе въ ихъ содержаніи и въ пріемахъ древняго и современнаго творчества, «Война и Миръ» имѣетъ сходство съ упомянутыми произведеніями не только по объему изображаемой ею жизни или по богатству заключающагося въ ней художественнаго матеріала, но и сходство болѣе внутреннее. «Война и Миръ» также эпически выдержана, также цѣлостна и едина по своему духу, также чужда всякой фальши и художественной натяжки, какъ и гармоническія созданія старины. Изображая сложную жизнь и сложную душу людей девятнадцатаго вѣка, Толстой сумѣлъ найти воззрѣніе, ставшее выше современныхъ раздоровъ человеческой мысли и своею правдою покорившее себѣ всѣ сердца, сумѣлъ и провести это воззрѣніе въ своемъ творествѣ, ниразу не погрѣшивъ противъ требова-



ній искусства, не издавъ ни одного художественнаго диссонанса.

Въ чемъ-же сущность этого воззрѣнія? Вотъ вопросъ, которымъ предстоитъ намъ заняться въ настоящемъ очеркѣ, вопросъ тѣмъ болѣе для насъ интересный, что въ рассматриваемомъ романѣ мы можемъ искать уже не отрывочныхъ наблюдений и взглядовъ автора, но законченнаго и полнаго воззрѣнія на жизнь. Все, что прежде говорилъ графъ Толстой своими повѣстями и рассказами, всѣ разнообразныя и подчасъ даже противорѣчивыя мысли и настроенія, вызванныя въ немъ отдѣльными случаями жизни,—все это должно найти свое мѣсто, примириться и разъясниться въ томъ созерцаніи жизни, которое открывается намъ страницами «Войны и Мира».

Первое, въ чемъ уже сказывается отношеніе нашего художника къ дѣйствительности, есть та особая манера творчества, которая характеризуетъ его, какъ несомнѣннаго и послѣдовательнаго реалиста. Въ «Войнѣ и Мирѣ», какъ и во всѣхъ другихъ своихъ произведеніяхъ, графъ Толстой прежде всего стремится къ правдѣ. Изобразить дѣйствительную природу, дѣйствительныя возможности жизни, изобразить то, что есть, и избѣжать всего фантастическаго, выдуманнаго, ложнаго—вотъ постоянная цѣль и неизмѣнный принципъ его творчества. И онъ неуклонно, спокойно и безпощадно подчиняетъ этому принципу всѣ возникающіе въ его душѣ образы и не пускаетъ на страницы своихъ произведеній ни од-

ного изъ нихъ, несогласнаго съ правдою земной жизни. Онъ ничего не утаиваетъ изъ дѣйствительности и ничего не выдумываетъ, чего-бы не могло быть въ этой дѣйствительности. Показывая добро, счастье, красоту или величіе человѣка, онъ не забываетъ тутъ-же отмѣтить и то зло, страданіе, безобразіе и ничтожность, которыя связаны съ ними роковыми законами жизни. Всѣ свойства человѣческой природы, послужившія когда-либо основаніемъ идеаловъ, введены у него въ полную личность реальнаго человѣка, слиты съ остальнымъ ея содержаніемъ, часто весьма непривлекательнымъ, невозможнымъ въ безукоризненномъ идеалѣ и неизбежно его разрушающимъ. Взгляните на героевъ «Войны и Мира», на тѣхъ людей, которыхъ авторъ заставилъ васъ полюбить, которыхъ онъ несомнѣнно самъ любитъ: между ними нѣтъ ни одного безупречнаго, ни одного свободного отъ чертъ низменной, противоидеальной стороны человѣческой природы. Пьеръ, несмотря на его доброту, на высокій полетъ его думъ и стремленій, своимъ слабымъ характеромъ привязанъ къ пошлой и беспорядочной жизни; Андрей Болконскій съ своимъ недюжиннымъ умомъ и благороднымъ характеромъ соединяетъ непріятную жесткость и сухость души; открытый, пылкій и честный Николай Ростовъ показанъ намъ человѣкомъ ограниченнымъ; прелестная, поэтическая, жизнерадостная Наташа должна почему-то заплатить дань грубой чувственности; княжна Мари Болконская дѣйствительно безгранично самоотверженна и чиста душой, но она

такъ некрасива, неграціозна и такъ запугана... О такихъ лицахъ, какъ Долоховъ, Анатоль и Эленъ, и говорить нечего. О нихъ можно сказать развѣ то, что они настолько-же не образцы зла и порока, насколько вышеупомянутыя лица не образцы добродѣтели. Въ Долоховѣ, этомъ сильномъ и жесткомъ эгоистѣ, авторъ открываетъ искреннюю и нѣжную любовь къ матери; Анато<sup>ль</sup>-же и Эленъ такъ наивно и естественно развратны, что представляются какъ-бы совершенно невиновными и неотвѣтственными за это... Словомъ, во всемъ романѣ вы не найдете блестящихъ и грандіозныхъ идеаловъ, поражающихъ воображеніе, не найдете рыцарей безъ страха и упрека, страстей пламенныхъ и неудержимыхъ, не найдете блаженства неземного, страданій сверхчеловѣческихъ и тому подобныхъ иллюзій, которыми питалась поэзія романтическая. Въ этомъ отношеніи реализмъ графа Толстаго дѣйствительно безпощаденъ. Въ этомъ смыслѣ онъ дѣйствительно можетъ быть названъ отрицателемъ.

Но мы глубоко-бы ошиблись, еслибы сказали, что духъ, разлитый въ романѣ, есть вообще духъ отрицанія. Не презрѣніемъ, не навистью, не насмѣшкою надъ чело<sup>вѣ</sup>ческой жизнью вѣетъ со страницъ этого романа, но теплою любовью къ ней, признаніемъ ея могущества, ея захватывающей поэзіи. Только авторъ «Войны и Мира» любитъ дѣйствительную жизнь, любить землю, какъ ее создалъ Богъ, съ ея относительнымъ добромъ, съ ея ограниченнымъ счастіемъ, а не тѣ восторженныя и экста<sup>ти</sup>ческія мечты, въ

которыхъ человѣкъ создалъ новые міры, новую жизнь безконечной красоты, сіяющаго счастья и непреходящаго величія. Въ своемъ ясномъ и спокойномъ созерцаніи жизни графъ Толстой не могъ не видѣть призрачности и фальши этихъ аффектированныхъ вымысловъ; его не удовлетворяли слѣпой паѳосъ и односторонняя правда романтической поэзіи; онъ не могъ забыть презираемую ею дѣйствительность, не могъ успокоиться, пока не достигалъ полной правды этой дѣйствительности.

Но отрицательное отношеніе творчества графа Толстого къ романтическимъ идеаламъ не есть его исключительная особенность; отношеніе это свойственно всѣмъ вообще произведеніямъ истиннаго реализма, и говоря о немъ, мы не коснулись еще того особеннаго значенія, которое специально принадлежитъ «Войнѣ и Миру» и отличаетъ этотъ романъ отъ произведеній одинаковаго съ нимъ направленія.

Если мы обратимся къ неособенно длинной исторіи нашего художественнаго реализма, то увидимъ, что начался онъ у насъ отрицаніемъ и довольно долгое время съ успѣхомъ развивалъ только отрицательные мотивы. Попытки создать что-либо положительное, идеальное, дѣлаемая время отъ времени нашими художниками-реалистами (Гоголь, Гончаровъ), всегда встрѣчали протестъ и осужденіе и со стороны критики, и со стороны общества. Да это и понятно. Мысль наша и наше эстетическое чувство слишкомъ тяготѣли еще къ сферѣ блестящихъ и красивыхъ идеаловъ, завѣщанныхъ намъ романтиз-

момъ, чтобы мы могли найти что-нибудь доброе въ томъ презрѣнномъ Назаретѣ, какимъ представлялась намъ наша дѣйствительность.

Но если такъ было, то это не значить еще, что такъ и должно быть всегда. Художественный реализмъ по природѣ своей не ограниченъ только отрицательной потенціей: ему нисколько не чужды и положительныя задачи творчества. Онъ ставитъ художнику единственное условіе, чтобы его образы не противорѣчили правдѣ дѣйствительности. Весь вопросъ, слѣдовательно, въ томъ, возможно-ли идеальное въ природѣ, или иначе: способенъ-ли человѣкъ настолько полюбить дѣйствительную жизнь, настолько проникнуться ея красотою, чтобы, не украшая и не очищая ее, признать въ томъ или другомъ изъ ея проявленій удовлетворяющій его идеаль? Самый бѣглый взглядъ на исторію литературы легко убѣждаетъ насъ, что общаго отвѣта нельзя дать на этотъ вопросъ. То или иное разрѣшеніе его обусловливается не общечеловѣческимъ содержаніемъ души, но тѣми своеобразными комбинаціями психологическихъ элементовъ, которыми опредѣляется типъ человѣка извѣстной націи, культуры или исторической эпохи. Уравновѣшенная натура древняго грека, умѣвшаго свободно и радостно пользоваться благами жизни, способна чувствовать и удовлетворяться прекраснымъ дѣйствительности; но суровый, аскетическій духъ среднихъ вѣковъ, стремящійся осуществить тѣ строгіе и чистые идеалы нравственности, которые возможны только въ мысли, всегда враждебно и отрицательно отно-

сился къ дѣйствительной, земной жизни. Европа позднѣйшаго времени, Европа восемнадцатаго и девятнадцатаго вѣка жила идеалами разума и воображенія. Это была эпоха страстной вѣры въ человѣка, эпоха раціональнаго антропоморфизма. Человѣкъ увлекался достигнутою имъ свободою духовной жизни, увлекался открывшимися ему мыслями, чувствами и настроеніями, которыя несли ему то наслажденіе, то страданіе, и подчиняясь этимъ субъективнымъ увлеченіямъ, невольно идеализировалъ ихъ внутренніе источники. Выразительницей этихъ-то увлеченій и явилась романтическая поэзія. Служа отголоскомъ личной жизни, она ставила себѣ только одно требованіе—искренность творчества, правду аффекта, какъ поэтическаго стимула, и затѣмъ въ этихъ предѣлахъ покорно отдавалась прихотливой игрѣ субъективныхъ настроеній. Она идеализировала всѣ силы и способности духа, дававшія содержаніе жизни человѣка въ ея эпоху, идеализировала не за ихъ добро или внутреннее достоинство, но потому, что человѣкъ жилъ и увлекался ими, да потому еще, что логика и воображеніе—ея постоянныя орудія—давали возможность къ этому. Дѣйствительно, что такое эти Фаусты, Вертеры, Донъ-Жуаны, Манфреды и Чайльдъ-Гарольды, Симурдены и Торквемады, какъ не идеализированныя возможности духа; и почему они—идеалы, какъ не потому только, что поэтическая фантазія сьумѣла найти грандіозные образы для пережитыхъ человѣчествомъ состояній сомнѣнія, неудовлетворенности, разочарованія, фанатизма и т. п.? Отнимите

у нихъ это величіе, столь дѣйствующее на воображеніе, разрушьте абстрактную чистоту образовъ, уменьшите ихъ размѣры, и вы лишите ихъ всякаго обаянія, такъ какъ оно закрѣплено за ними исключительно ихъ эстетическимъ достоинствомъ. А между тѣмъ, вы должны это сдѣлать, если хотите быть вѣрными природѣ. Романтическіе образы не умѣщаются въ дѣйствительности: это типы другого міра, извлеченнаго, правда, изъ той-же дѣйствительности, но очищеннаго и преображеннаго поэтическимъ идеализмомъ. Понятно теперь, почему реализмъ, явившійся какъ-бы литературнымъ преемникомъ романтизма, долженъ былъ отнестись къ нему отрицательно. Поэты-романтики не изображали дѣйствительную жизнь, но создавали блестящую мечту жизни, въ которую страстно хотѣли уйти изъ бѣдной дѣйствительности. Реализмъ, стремящійся прежде всего къ правдѣ, не могъ не отвергнуть эти красивые образы въ силу ихъ призрачности, ихъ недѣйствительности.

Но съ чѣмъ-же остался самъ реализмъ, отвергнувшій прежніе идеалы? Чѣмъ онъ жилъ? Какъ онъ относился къ дѣйствительности?

Ограничивая наши вопросы сферою русской литературы (потому, во-первыхъ, что въ русскихъ произведеніяхъ реализмъ нашелъ наиболѣе художественное выраженіе, и потому, во-вторыхъ, что мы не можемъ далеко отклоняться отъ нашей главной задачи), мы должны сказать, что, по справедливому замѣчанію Ап. Григорьева, въ первомъ изъ нашихъ

художниковъ-реалистовъ — въ Пушкинѣ — уже сказанъ поворотъ поэтического міросозерцанія. Пушкинъ уже можетъ любить дѣйствительную жизнь, можетъ поэтизировать скромныя картины родной природы, скромныхъ и простыхъ людей своей страны. Но рѣшить вопросъ объ основаніяхъ этой любви, о содержаніи новаго идеала по произведеніямъ Пушкина было-бы затруднительно. Тутъ-то и является передъ нами другой реалистъ съ своей великой эпопеей. Графъ Л. Н. Толстой не безразлично изображаетъ дѣйствительность. «Война и Миръ» не есть сплошное отрицаніе или сплошная идеализація жизни. Что-то такое раздѣляетъ эту жизнь, опредѣляетъ ваши чувства къ ней, властно заставляетъ васъ любить одно, презирать другое, сожалѣть о третьемъ. Вы не можете не любить Наташу, Пьера, Андрея Болконскаго, княжну Марью, стараго графа Ростова, даже Денисова, вы не можете полюбить Берга, Бориса Друбецкого, Анну Михайловну, Долохова, вы не можете не презирать Эленъ, Ипполита и Анатоля Курагиныхъ. Что-же руководитъ авторомъ въ его различныхъ отношеніяхъ къ жизни? Какимъ созерцаніемъ создана «Война и Миръ?» Мы сказали уже выше, что образы «Войны и Мира» не подкупаютъ нашего воображенія своимъ величіемъ или чистотою, что герои разсматриваемаго романа далеко не безупречны. Слѣдовательно, если мы все-таки симпатизируемъ нѣкоторымъ изъ нихъ, то единственно только за тѣ достоинства человѣка, которыхъ нельзя не любить. Авторъ вѣрить въ существованіе вѣчнаго и



неизмѣннаго добра на землѣ, того добра, которое имѣетъ значеніе само по себѣ и не теряетъ своей цѣны оттого, что по неизбѣжнымъ законамъ дѣйствительности къ нему всегда примѣшаны нѣкоторыя черты безсилія и несовершенства. Любовь, доброта человѣка не становятся меньше, не тускнѣютъ оттого, что онъ некрасивъ, неловокъ, необразованъ, простоватъ, не силенъ волею и т. п. Человѣку дѣйствительно даны прекрасныя потенціи, человѣкъ дѣйствительно можетъ быть хорошъ, говорить графъ Толстой своей эпопеей и въ строго-объективномъ и замѣчательно правдивомъ изображеніи жизни заставляеть почувствовать ея красоту.

Многимъ прельщаются и увлекаются люди: ихъ манятъ къ себѣ и богатство, и роскошь, и слава, и власть, и чувственное наслажденіе—все это идолы, которымъ приносятся на землѣ обильныя жертвы. Прекрасно знаетъ это нашъ сердцевѣдъ-художникъ и въ широко-развернутой передъ нами картинѣ людскихъ страстей и увлеченій показываетъ ихъ узкій, эгоистическій характеръ неспособный удовлетворить и успокоить человѣческую душу; надъ этими цѣлями и безконечно выше ихъ, какъ несомнѣнное благо, какъ достойное содержаніе идеала, онъ ставитъ жизнь по естественнымъ влеченіямъ сердца къ добру и правдѣ, сознаніе которыхъ никогда не изсякаетъ въ душѣ человѣка. Посмотрите на толпы одержимыхъ какою-либо изъ упомянутыхъ эгоистическихъ страстей, посмотрите на этого князя Василю, Анну Михайловну, Бориса, Анатоля, Эленъ, на этихъ Бениг-

сеновъ, Вольцогеновъ, Барклаевъ, Ростопчиныхъ—развѣ это не вѣчные мученики своихъ страстей, развѣ они спокойны и развѣ испытываемыя ими минуты торжества и довольства могутъ сравняться съ моментами того высокаго счастья, которое доступно Пьеру, Николаю Ростову, княжнѣ Маріи или Наташѣ?

Интересъ романа значительно поднимается тѣмъ обстоятельствомъ, что въ него введены два лица съ замѣчательно широкимъ діапазономъ души—Андрей Болконскій и Пьеръ. Съ перваго появленія своего въ романѣ, среди тщеславнаго и искусственнаго петербургскаго общества, Андрей Болконскій привлекаетъ наше вниманіе тѣмъ видомъ скуки и неудовлетворенности, который свидѣтельствуешь о присутствіи въ его душѣ иныхъ стремленій и запросовъ. Скоро передъ нами раскрывается эта душа и мы видимъ, что ею владѣетъ жажда славы, жажда людской любви. Наканунѣ Аустерлицкаго сраженія, возбужденный близостью опасности и давно ожидаемаго имъ отъ себя подвига, Андрей думалъ:—«Я не знаю, что будетъ потомъ, не хочу и не могу знать; но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть извѣстнымъ людямъ, хочу быть любимымъ ими, то вѣдь я не виноватъ, что хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого. Я никогда никому не скажу этого, но Боже мой! что-же мнѣ дѣлать, ежели я ничего не люблю, какъ только славу, любовь людскую. Смерть, раны,—ничто мнѣ не страшно. И какъ ни дороги, ни милы мнѣ многіе люди, отецъ, сестра, жена—самые доро-

гіе мнѣ люди; но какъ ни страшно и неестественно это кажется, я всѣхъ ихъ отдамъ сейчасъ за минуту славы, торжества надъ людьми, за любовь къ себѣ людей, которыхъ я не знаю и не буду знать». Послѣ позорно проигранной Аустерлицкой битвы, послѣ полученной здѣсь раны, послѣ смерти жены для Андрея закрылись всѣ радости жизни и осталась только одна обнаженная необходимость эгоистическаго существованія, да холодные интересы ума. «Каждый живетъ по своему, говоритъ онъ теперь Пьеру, посѣтившему его въ деревнѣ:—ты жилъ для себя и говоришь, что этимъ чуть не погубилъ свою жизнь, а узналъ счастье только тогда, когда сталъ жить для другихъ. А я испыталъ противоположное. Я жилъ для славы (вѣдь что-же слава? та-же любовь къ другимъ, желаніе сдѣлать для нихъ что-нибудь, желаніе ихъ похвалы). Такъ я жилъ для другихъ, и не почти, а совсѣмъ погубилъ свою жизнь. И съ тѣхъ поръ сталъ спокойнѣе, какъ живу для одного себя.

«— Да какъ-же жить для одного себя! разгорячась спросилъ Пьеръ.—А сынъ, а сестра, а отецъ?

«— Да это все тотъ-же я, это не другіе, сказалъ князь Андрей,—а другіе ближніе, *le prochain*, какъ вы съ княжной Марьей называете, это главный источникъ заблужденія и зла».

Любовь къ Наташѣ снова возвратила князя Андрея къ жизни, снова возвратила ему «счастье надежды, свѣтъ». Но исключительная любовь къ женщинѣ, къ одной личности—непрочная опора счастья. Увлечшись вспышкой страсти къ Анатолю Кураги-

ну, Наташа разбила возникающій въ душѣ Андрея новый міръ радостной, свѣтлой жизни. Онъ снова остался одинокимъ и безучастнымъ зрителемъ жизни, опять началось существованіе безъ радости, безъ цѣли, пока онъ опять не былъ раненъ и пока приближающаяся смерть не открыла ему новаго, вѣчнаго и независимаго ни отъ какихъ случайностей смысла жизни. «Состраданіе, любовь къ братьямъ, къ любящимъ, любовь къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ, да, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой меня учила княжна Марья и которой я не понималъ; вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ оно то, что еще оставалось мнѣ, ежели бы я былъ живъ. Но теперь уже поздно. Я знаю это!» думалъ князь Андрей, лежа раненый въ госпиталѣ и слыша стоны недавняго врага своего Анатоля.

Но и это послѣднее настроеніе князя Андрея не можетъ насъ удовлетворить. Это вѣдь уже не жизнь, а только мысли и чувства умирающаго, и не эти мысли даютъ отвѣтъ на вопросъ о раскрываемомъ авторомъ идеалѣ жизни. Болѣе поучительна въ этомъ отношеніи судьба Пьера. Духовная сторона преобладаетъ въ Пьерѣ еще очевиднѣе, чѣмъ въ Болконскомъ. Пьеръ дѣятельно и неотступно искалъ правды жизни, мучился каждымъ ложнымъ поступкомъ своимъ, тосковалъ и томился пустою и безотрадною жизнью. Цѣлый рядъ этихъ исканій показываетъ намъ авторъ: показываетъ увлеченіе Пьера масонствомъ и филантропией, стремленіе его забыться въ

разсѣяніи свѣтской жизни, его надежду удовлетвориться невысказанной, нераздѣленной любовью къ Натанѣ, его обращеніе къ подвигу самопожертвованія, когда для спасенія Россіи онъ задумалъ убить Наполеона. Исканія эти не дали ему желаемого успокоенія и «согласія съ самимъ собою», обманули его. И только попавъ въ плѣнъ къ французамъ, только пройдя черезъ ужасъ смерти и всевозможныя лишенія, онъ получилъ наконецъ внутреннее спокойствіе и довольство жизнью. Учителемъ, открывшимъ ему новый путь къ счастью, былъ товарищъ его по плѣну, нищій и простой солдатъ, Платонъ Каратаевъ—эта олицетворенная стихія русскаго народнаго духа. Переживъ и переработавъ то, что открылось ему въ Каратаевѣ, Пьеръ понялъ смыслъ и радость жизни. «Отсутствіе страданій, удовлетвореніе потребностей и вслѣдствіе того свобода выбора занятій, т. е. образа жизни, представлялись теперь Пьеру несомнѣннымъ и высшимъ счастьемъ человѣка»... «То самое, чѣмъ онъ прежде мучился, чего онъ искалъ постоянно, цѣли жизни, теперь для него не существовало. Эта искомая цѣль жизни теперь не случайно не существовала для него только въ настоящую минуту, но онъ чувствовалъ, что ея нѣтъ и не можетъ быть. И это-то отсутствіе цѣли давало ему то полное, радостное сознаніе свободы, которое въ это время составляло его счастье». «Онъ не умѣлъ видѣть прежде великаго, непостижимаго и безконечнаго ни въ чемъ. Онъ только чувствовалъ, что оно должно быть гдѣ-то, и искалъ его. Во всемъ близкомъ, понятномъ, онъ видѣлъ одно

ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное. Онъ вооружался умственной зрительной трубой и смотрѣлъ въ даль, туда, гдѣ это мелкое житейское, скрываясь въ туманной дали, казалось ему великимъ и безконечнымъ оттого только, что оно было неясно видимо. Такимъ ему представлялась европейская жизнь, политика, масонство, философія, филантропія. Но и тогда, въ тѣ минуты, которыя онъ считалъ своей слабостью, умъ проникалъ и въ эту даль, и тамъ онъ видѣлъ тоже мелкое, житейское, бессмысленное. Теперь-же онъ выучился видѣть великое, вѣчное и безконечное во всемъ, и потому естественно, чтобы видѣть его, чтобы наслаждаться его созерцаніемъ, онъ бросилъ трубу, въ которую смотрѣлъ до сихъ поръ черезъ головы людей, и радостно созерцалъ вокругъ себя вѣчно измѣняющуюся, вѣчно великую, непостижимую и безконечную жизнь. И чѣмъ ближе онъ смотрѣлъ, тѣмъ больше онъ былъ спокоенъ и счастливъ».

Вотъ въ чемъ состоялъ великій переворотъ, совершившійся въ душѣ Пьера, и вотъ та высшая точка, съ которой авторъ романа созерцаетъ человѣческую жизнь. Это созерцаніе его называютъ нерѣдко фатализмомъ, поклоненіемъ слѣпымъ силамъ природы, полнымъ санкціонированіемъ дѣйствительности... Не вступая здѣсь въ споръ о словахъ, можно согласиться, пожалуй, что міросозерцаніе графа Толстого проникнуто фатализмомъ и поклоненіемъ природѣ—въ томъ смыслѣ, что, образовавъ душу чловѣка, она предопредѣлила для него всѣ возможности счастья и что другого счастья, кромѣ дарованнаго

ему природой, человекъ не можетъ достигнуть, несмотря на свой свободный умъ и дѣятельную волю. Но если человекъ не можетъ выдумать себѣ новаго счастья, то освободившись черезъ сознаніе отъ власти природы, онъ имѣетъ полную возможность погубить данное ему счастье. Какъ есть одинъ только моментъ равновѣсія, такъ возможно одно только положеніе человека въ природѣ, при которомъ существованіе его становится гармоническимъ, при которомъ онъ можетъ быть счастливъ. Каждому человеку положеніе это указываетъ внутренній голосъ живущей въ немъ природы, голосъ совѣсти, выражающійся въ тѣхъ состояніяхъ тревоги и спокойствія, которыми сопровождается каждое сознательное его дѣйствіе; но подчиниться этому голосу съ тѣхъ поръ, какъ освободившійся духъ человека создалъ цѣлый міръ произвольныхъ цѣлей и нормъ дѣйствія, — подчиниться сознательно и добровольно этой разрушенной власти природы сдѣлалось необыкновенно трудно, и человекъ началъ свое историческое блужденіе вокругъ закрывшейся для него правды жизни и недоступнаго ему счастья. Все это глубоко понялъ авторъ «Войны и Мира»; эта идея составляетъ органическую часть его міросозерцанія, и потому никакъ нельзя сказать, чтобы онъ безразлично санкционировалъ все содержаніе дѣйствительности. Мы уже видѣли, въ какомъ различномъ освѣщеніи представляетъ онъ различныя возможности жизни, и какъ неодинаково заставляетъ насъ относиться къ изображаемымъ имъ лицамъ. Всѣ эти лица съ точки зрѣ-

нія указанной идеи могутъ быть распредѣлены по тремъ группамъ. Къ первой относятся люди, давно оторвавшіеся отъ природы и до того ушедшіе въ свои искусственныя цѣли, что имъ некогда прислушаться къ голосу своей совѣсти, что они не хотятъ его слышать и всячески стараются заглушить его шумомъ и внѣшнимъ движеніемъ жизни. Сами они не всегда, правда, страдаютъ, зато жизнь ихъ сплошная ложь и пустота. Сюда принадлежитъ прежде всего Наполеонъ въ которомъ противоестественное и противочеловѣческое стремленіе достигло высочайшаго своего напряженія и въ которомъ нашъ авторъ видитъ глубокое помраченіе ума и совѣсти,—его свита, его генералитетъ; сюда-же входитъ и высшее петербургское общество, салоны m-ше Шереръ и Эленъ съ ихъ аббатами, посланниками, эмигрантами, княземъ Василиемъ, Анатолемъ, Друбецкимъ и т. п. Вторую группу образуютъ лица того же склада жизни, того-же положенія, что и первые, съ тою однако существенною разницею, что они глубоко недовольны своимъ положеніемъ, что они слышатъ протестующій голосъ своей души и мучительно ищутъ выхода къ правдѣ. Это — Пьеръ и Андрей Болконскій, это какъ-бы звено между первой и третьей группой, какъ-бы формирующійся потокъ, которымъ первая можетъ перелиться въ послѣднюю, вполне покорную власти природы и состоящую изъ тѣхъ солдатъ, которые сражались за свою родину подъ Бородинымъ,—изъ Платона Каратаева и другихъ лицъ огромной крестьянской массы. Къ этому.



же разряду лицъ сталъ принадлежать и Пьеръ послѣ того, какъ открылся ему новый смыслъ жизни. Пьеръ дѣйствительно нашелъ свое счастье, женившись на Наташѣ и основавъ себѣ семью. Его семейная жизнь не отличалась какимъ либо особымъ изяществомъ, поэтичностью отношеній между мужемъ и женой; это была обыкновенная семья со всѣми ея естественными принадлежностями—съ дѣторожденіемъ, кормленіемъ дѣтей и хлопотливымъ уходомъ за ними, съ опустившеюся и погруженную въ тысячу мелкихъ и прозаическихъ заботъ женою-матерью, съ привычною и необходимою любовью другъ къ другу. Такая семья можетъ дать счастье человѣку, говоритъ авторъ, такъ какъ видитъ въ ней одно изъ проявленій той правды жизни, которая составляетъ сущность его идеала.

До сихъ поръ мы говорили только о мирѣ и о жизни обычной. Но авторъ эпопеи показалъ намъ и событія другого порядка, другихъ размѣровъ, событія историческаго значенія. Какою же внутреннею связью соединены эти изображенія различныхъ порядковъ жизни, зачѣмъ понадобилось автору для раскрытія своего міросозерцанія коснуться исключительныхъ событій исторіи? Отвѣтомъ можетъ служить только указанная идея о томъ, что великое, вѣчное жизни, способное удовлетворить человѣка, существуетъ не въ дали гдѣ-нибудь, не въ тайнахъ грандіозныхъ событій, но вездѣ и во всемъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, нужно было взять изъ человѣческой жизни что-либо несомнѣнно великое, несомнѣнно героическое и показать,

что и тамъ дѣйствуетъ тотъ-же обыкновенный человекъ, что и оно состоитъ изъ моментовъ столь-же простыхъ и свойственныхъ человеку, какъ и обыкновенныя его положенія, что и оно покорно общимъ и неизмѣннымъ законамъ человѣческой жизни и счастья. Авторъ такъ и сдѣлалъ. Едвали во всей нашей исторіи есть фактъ крупнѣе отечественной войны 1812 г. Въ своей эпопее графъ Толстой и даетъ намъ художественное воспроизведеніе этого факта, представляетъ его въ сценахъ и лицахъ, и лица эти не перестаютъ быть у него тѣми же обыкновенными людьми, какихъ показывалъ онъ намъ во время мира. Тѣ же простые солдаты, тѣ-же офицеры и генералы, тотъ-же Ростовъ, Денисовъ, Болконскій, Тихомиринъ. Но всѣ эти обыкновенные люди, въ то-же время, несомнѣнные герои, такъ какъ дѣло, совершенное ими,—дѣйствительно великое дѣло.

Истинное добро и высшія блага жизни — не въ исключительныхъ, блестящихъ и грандіозныхъ ея проявленіяхъ, но—въ скромномъ и простомъ счастьи, основанномъ на удовлетвореніи естественныхъ, общечеловѣческихъ потребностей. Истинный героизмъ не нуждается въ красотѣ формы и внѣшнемъ величіи,—онъ возможенъ и въ обыкновенномъ человекѣ, какъ бы онъ ни былъ малъ и простъ, какъ бы онъ ни былъ даже комиченъ... Вотъ къ какому выводу привело графа Толстого его безстрашно-правдивое созерцаніе жизни. Онъ не побоялся сочетать героическое съ комическимъ и ихъ эстетическій антагонизмъ стремился примирить въ томъ мужественномъ

и глубокомъ чувствѣ, которое умѣетъ цѣнить добро и нравственную красоту ради ихъ собственнаго достоинства и не смотря на неизбѣжную примѣсь къ нимъ чертъ обычной человѣческой мелочности и ограниченности.

Событіямъ войны посвящено еще въ романѣ довольно много страницъ историко-философскаго содержанія. Но мы не будемъ на нихъ останавливаться, потому, во-первыхъ, что между художественнымъ содержаніемъ романа и философскими взглядами автора нѣтъ органической связи, и во-вторыхъ потому, что настоящій очеркъ нашъ отнюдь не претендуетъ на полноту критической оцѣнки романа. Полная критика «Войны и Мира» есть крупная задача и потребовала-бы весьма обширной работы. Въ настоящемъ-же очеркѣ мы имѣли въ виду показать только основныя черты того созерцанія жизни, которое выразилось въ «Войнѣ и Мирѣ».

---

## VIII.

### „Анна Каренина“.

Какъ и все, что вышло изъ подъ пера графа Л. Н. Толстого, романъ «Анна Каренина» отличается полною самостоятельностью творческихъ мотивовъ и очевиднымъ преобладаніемъ интереса къ вѣчному и общечеловѣческому надъ временнымъ и случайнымъ. Несмотря на то, что романъ этотъ писался во время всеобщаго почти увлеченія соціальными вопросами и совершавшимися тогда политическими событіями, онъ слегка лишь касается этихъ—уже минувшихъ—злобъ дня и развиваетъ иную тему, чуждую этимъ злобамъ и отвѣчающую только «любимымъ думамъ» самого автора. Въ глазахъ критики того времени, это было неизвинимымъ недостаткомъ. Словно пораженная слѣпотою, критика эта ничего не способна была увидѣть въ романѣ, кромѣ «великосвѣтскихъ амуровъ» и «самодурства барской праздности»... Но не прошло еще и десяти лѣтъ, а эти мнѣнія критики давно уже забыты и покоются гдѣ-то въ пыли журнальныхъ архивовъ, тогда какъ «любимыя думы»

автора, получившія въ романѣ свое художественное выраженіе, приобрѣтаютъ все большій и большій интересъ, все больше и больше вырастаютъ въ своемъ значеніи. Онѣ проникли уже въ мысли и сердце читателя и вызвали въ немъ то состояніе эстетическаго восторга, которымъ человѣкъ не разучился еще отвѣчать на явленія истины и красоты. Такимъ восторгомъ переполнена, напримѣръ, критическая статья покойнаго М. С. Громеки, написанная съ серьезнымъ отношеніемъ къ предмету и съ рѣдкою въ наше время широтою взгляда.

«Анна Каренина» — уже не то безбрежное море жизни, которое открывается намъ въ «Войнѣ и Мирѣ»; это уже не народная эпопея, но болѣе привычное намъ литературное произведеніе съ ограниченою сферою изображенія, съ опредѣленнымъ кругомъ лицъ, съ опредѣленнымъ и сконцентрированнымъ дѣйствіемъ. Впрочемъ, все это можно сказать только по сравненію съ «Войною и Миромъ»; при сопоставленіи же съ другими романами «Анна Каренина» является произведеніемъ выдающимся по богатству и разнообразію содержанія, по множеству выведенныхъ лицъ, по обилію эпизодическихъ сценъ и картинъ. Даже дѣйствіе въ «Аннѣ Карениной» тяготеетъ не къ одному центру, но развивается двумя параллельными и почти самостоятельными фабулами. Несмотря на это, романъ не производитъ двойственнаго впечатлѣнія, не кажется искусственнымъ соединеніемъ двухъ различныхъ и ненужныхъ другъ другу инцидентовъ человѣческой жизни. Вы чувствуете въ немъ какое-

то глубокое внутреннее единство, вполне удовлетворяющее васъ, и самую раздвоенность фабулы замѣчаете только изъ внѣшняго анализа романа, только путемъ логическихъ умозаключеній. Почему это? Что придаетъ роману это непосредственно сознаваемое въ немъ единство?

Выше мы имѣли уже случай замѣтить, что во всѣхъ произведеніяхъ своихъ гр. Толстой старался постигнуть законы человѣческой жизни, что имъ неотступно руководилъ интересъ раскрыть судьбу человѣка, уловить дѣйствительныя возможности и необходимости его земного жребія. Въ разсматриваемомъ романѣ авторъ остался вѣренъ тому же интересу, но здѣсь онъ глубже чѣмъ когда-либо заглянулъ въ тайны человѣческой судьбы и ярче чѣмъ гдѣ-либо представилъ зависимость человѣческаго счастья отъ вѣчныхъ и непреодолимыхъ законовъ природы. Своимъ романомъ онъ словно открылъ передъ нами окно, черезъ которое мы увидали таинственный міръ силъ, управляющихъ жизнью, увидали нѣчто неизмѣнное и безконечное, проявляющееся въ конкретныхъ и какъ-бы случайныхъ событіяхъ, увидали природу-судьбу, природу-Немезиду съ ея грознымъ закономъ: «Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ!». Читая романъ, мы чувствуемъ присутствіе этихъ вѣчныхъ и роковыхъ силъ жизни, чувствуемъ, какъ, подчиняясь имъ, складывается его дѣйствіе,—и вотъ эта-то властная, всемогущая рука судьбы, ведущая человѣка, этотъ скрытый, но несомнѣнный дѣятель романа и придаетъ ему то внутреннее единство, которое застав-

ляетъ насъ видѣть во всѣхъ персонажахъ его—брошеннаго на землю и покорнаго ея власти человѣка, а во всѣхъ положеніяхъ и коллизіяхъ — предопредѣленные возможности и необходимости человѣческой жизни. Но то великое и вѣчное, что показываетъ намъ графъ Толстой, не есть слѣпая судьба, или рокъ древнихъ; таинственные Парки прядутъ у современнаго художника не жизненные нити каждой конкретной личности, но нити общихъ, абстрактныхъ законовъ, опутывающихъ жизнь человѣческую и неизмѣнно примѣняющихся относительно всякаго человѣка. Древніе представляли судьбу человѣка, какъ необходимый для него рядъ непостижимыхъ случайностей; въ изображеніи нашего художника, судьба—случайно наступившій рядъ необходимостей. Эдипъ убилъ отца и женился на матери, потому что ему именно это было предопредѣлено, потому что отъ судьбы своей не уйдешь; Анна Каренина могла не погибнуть, могла-бы прожить если не счастливо, то спокойно; но отдавшись своей страсти и пожертвовавъ для нея всѣмъ, она должна была погибнуть.

Анна Аркадьевна Облонская молоденькой дѣвушкой выдана была замужъ за Алексѣя Александровича Каренина. Живое, личное чувство не играло никакой роли въ этомъ супружествѣ. Тетка выдала Анну за Каренина, находя почему-то эту партію выгодною. Восемь лѣтъ прожила Анна съ своимъ мужемъ, прожила мирно, спокойно, однообразно, дѣля свое время между свѣтскими удовольствіями и заботами о сынѣ. Полная силъ, молодая, красивая,

жаждущая еще неизвѣданнаго ею счастья, Анна не могла быть удовлетворена тою жизнью, которую давалъ ей мужъ — этотъ умный и безукоризненно честный, но сухой педантъ, убившій въ себѣ всякое чувство и автоматически-правильно движущійся въ жизни подъ дѣйствиємъ исключительно умственного механизма идей, сознанныхъ обязанностей и задачъ. Не разразись драма, Анна могла бы завянуть и засохнуть въ этой жизни. И это была бы жертва, и это было бы возмездіе судьбы—обидная жертва молодого счастья въ угоду какому-то постороннимъ, фальшивымъ расчетамъ, возмездіе за произвольное нарушеніе естественныхъ правъ и стремленій человѣческой природы... Но случай сулилъ иное. Дорогою изъ Петербурга въ Москву Анна встрѣтилась съ молодымъ, красивымъ офицеромъ, графомъ Вронскимъ. Вотъ какъ описываетъ авторъ эту первую встрѣчу. «Блестящіе, казавшіеся темными отъ густыхъ рѣсницъ, сѣрые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лицѣ, какъ будто она признавала его, и тотчасъ-же перенеслись на проходящую толпу, какъ-бы ища кого-то. Въ этомъ короткомъ взглядѣ Вронскій успѣлъ замѣтить сдержанную оживленность, которая играла въ ея лицѣ и порхала между блестящими глазами и чуть замѣтной улыбкою, изгибавшею ея румяныя губы. Какъ будто избытокъ чего-то такъ переполнялъ ея существо, что мимо ея воли выражался то въ блескѣ взгляда, то въ улыбкѣ». Электрическая искра страсти уже передалась этимъ взглядомъ изъ души Карениной въ



душу Вронскаго, и несознанныя еще узы взаимнаго чувства уже связали ихъ. Они уже ищутъ другъ друга, уже необходимы одинъ для другого. Еще двѣ-три встрѣчи — и господство страсти надъ ними уже обезпечено. Приѣхавъ въ Петербургъ къ мужу, Анна чувствуетъ, что прежняя жизнь не можетъ ее удовлетворить, чувствуетъ пустоту и скуку. Свѣтская жизнь позволяетъ ей продолжать начавшіяся отношенія съ Вронскимъ, и страсть ихъ гигантскими шагами идетъ къ развязкѣ. Но не радость принесло это чувство Аннѣ. Оно сталкивалось со всѣмъ строемъ ея прежней жизни и коллизія эта была непримирима: что-нибудь должно было погибнуть. Положеніе между мужемъ и любовникомъ, съ необходимымъ обманомъ, съ презрѣніемъ къ себѣ, глубоко возмущало искреннюю и чистую натуру Анны. Случай ускорило объясненіе. На скачкахъ въ Царскомъ Селѣ Вронскій упалъ съ лошади. Анна съ мужемъ сидѣла въ бесѣдкѣ. Страхъ за любимаго человека выдалъ ее, и, возвращаясь домой въ каретѣ, она во всемъ призналась мужу. Со стороны его не послѣдовало ни сцены ревности, ни вспышки оскорбленнаго чувства; онъ позаботился только о приличіяхъ, о мнѣніи свѣта, и желалъ, чтобы все оставалось по-прежнему. Мучительное состояніе продолжалось. Мучились всѣ трое, и каждый по своему надѣялся, что скоро все измѣнится. Но любовь къ сыну и какой-то непреодолимый страхъ стать открыто въ положеніе любовницы мѣшали Аннѣ согласиться на окончательный разрывъ съ мужемъ, чего такъ сильно

хотѣлъ Вронскій. Побуждаемый желаніемъ возстановить во мнѣніи общества честь своего имени и вмѣстѣ съ тѣмъ отмстить своей женѣ за весь позоръ и за причиненныя ему страданія, Алексѣй Александровичъ также искалъ исхода изъ своего положенія и нашелъ его въ разводѣ, рѣшивъ отнять сына у матери. Но тутъ произошло событіе, перемѣшавшее на время всѣ отношенія. Анна родила и послѣ родовъ сильно заболѣла. Вронскій (отецъ новорожденного) сидѣлъ у ея постели. Пріѣхалъ Алексѣй Александровичъ. И вотъ между этими тремя людьми, связанными сложными отношеніями любви, ненависти и презрѣнія, произошла поразительная сцена взаимнаго прощенія и примиренія. Алексѣй Александровичъ простилъ искренно. Этотъ сухой, жесткій человѣкъ простилъ жену и жалѣлъ ее за ея страданія и раскаяніе, простилъ Вронскому, чувствовалъ себя совершенно спокойнымъ «и не видѣлъ въ своемъ положеніи ничего необыкновеннаго, ничего такого, что-бы нужно было измѣнять». Онъ рѣшилъ не разлучаться съ женою. Но прошло два мѣсяца, и вмѣстѣ съ возвращеніемъ силъ вернулась къ Аннѣ и прежняя страсть къ Вронскому, и прежнее отвращеніе къ мужу. Что-то роковое вошло въ эту жизнь и, противъ воли участвующихъ въ ней лицъ, влекло ихъ къ неизбѣжной, фатальной развязкѣ. Развязка должна было наступить, но развязать положеніе такъ, чтобы всѣ были спокойны и счастливы, чтобы не было страдающихъ, не было жертвы, сдѣлалось уже невозможнымъ. Нравственный законъ жизни уже былъ нарушенъ и наступали

трагическія послѣдствія этого нарушенія. Алексѣй Александровичъ соглашался, правда, на разводъ, соглашался даже отдать сына и принять на себя вину въ бракоразводномъ процессѣ, но воспользоваться этимъ великодушіемъ мужа, обрушить всю тяжесть и весь позоръ положенія на голову ни въ чемъ невиновнаго человѣка—это было невозможно для той гордости и деликатности, которыми была надѣлена Анна. Разводъ безъ сына также не могъ удовлетворить ее. Жить въ разлукѣ было невыносимо для Вронскаго и для Анны. Выбрали компромиссъ: «Алексѣй Александровичъ остался одинъ съ сыномъ на своей квартирѣ, а Анна съ Вронскимъ уѣхала за границу, не получивъ развода и рѣшительно отказавшись отъ него». Пріѣхавъ въ Италію, Анна чувствовала себя первое время «непростительно счастливою и полною радости жизни». Она упивалась своею свободою и своею страстью. Но долго жить одною страстью человѣкъ не можетъ. Анна же съ Вронскимъ со всѣмъ порвали и цѣликомъ ушли въ свое чувство. Скоро имъ показалось скучно и пусто въ итальянскомъ городѣ и они рѣшили ѣхать въ Россію. Въ Петербургѣ имъ открылась новая сторона ихъ положенія: свѣтъ былъ закрытъ для нихъ. Свѣтъ готовъ былъ принять Вронскаго, но не допускалъ возможности впустить въ свой кругъ Анну. Для Вронскаго это было и оскорбленіемъ, и серьезнымъ лишеніемъ. Что-то уже поднималось между нимъ и Анной. Отвергнутая обществомъ, разлученная съ любимымъ сыномъ, Анна чувствовала, что единственная опора ея,

единственная возможность для нея жизни—въ любви Вронскаго, и въ то-же время ужасная мысль о возможности потери этой любви уже проносилаь передъ нею...

Наконецъ, они уѣхали въ деревню. Въ деревнѣ они забыли обиду, нанесенную имъ свѣтомъ, и Вронскій нашелъ даже нѣкоторое удовлетвореніе своему честолюбію въ той роли крупнаго землевладѣльца и земскаго дѣятеля, которая открылась ему въ уѣздѣ. Въ домѣ же у себя имъ все какъ-то не удавалось установить вполнѣ семейный тонъ жизни. Что-то холодное и безличное чувствовалось въ окружающей ихъ роскоши, что-то невозможное въ семейномъ быту проскальзывало въ отношеніяхъ къ Аннѣ ихъ исключительно мужского общества. Анна не входила сама въ хозяйство, не много времени отдавала дочери и систематически занималась собой, хватаясь за свою красоту, какъ за единственное средство сохранить для себя необходимую ей любовь Вронскаго. Естественно и незамѣтно пришла она къ циническому рѣшенію не имѣть больше дѣтей, рожденіе которыхъ должно было сдѣлать ее непривлекательною для Вронскаго. Кромѣ того, у Анны было еще одно мученіе — невозможность имѣть при себѣ сына, невозможность соединить въ своей жизни тѣ два существа, безъ которыхъ она не могла быть счастлива. Вронскій, столь многимъ уже пожертвовавшій съ своей точки зрѣнія для Анны, хотѣлъ вознаградить себя новыми отношеніями съ людьми, новыми удовольствіями; обладая Анной, онъ стремился расширить сферу своей жизни.

Анна-же, дышавшая только его любовью, во всѣхъ новыхъ знакомствахъ, планахъ и предпріятіяхъ своего Алексѣя видѣла только личныхъ враговъ, отнимающихъ его у нея. Она томила и страдала самыми мрачными подозрѣніями во время его отсутствія, выдумывала способы, какъ-бы поскорѣй вернуть его, осыпала его упреками при возвращеніи, устраивала сцены ревности. Отказавшись прежде отъ развода, теперь она уступила убѣжденіямъ Вронскаго и послала мужу письмо съ просьбой о разводѣ. Въ ожиданіи отвѣта, они пріѣхали въ Москву. Но переменна мѣста не исправила дѣла. Анна хотѣла невозможнаго. Она желала безконечнаго продолженія того блаженства, того упоенія, которое страсть давала ей прежде. Весь смыслъ, все счастье жизни сосредоточились для нея въ этой страсти. Но страсть, та чувственная, самолюбивая страсть, которую Анна питала къ Вронскому, неспособна выдержать тяжести жизни, въ особенности той жизни, какой требовала гордая и богато-одаренная натура Анны. Это зданіе, построенное вопреки всѣмъ законамъ природы, этотъ роскошный дворецъ, возведенный на песчаномъ фундаментѣ, неизбѣжно долженъ былъ развалиться, — и жизнь Анны развалилась дѣйствительно.

Съ изумительнымъ мастерствомъ и глубокимъ пониманіемъ человѣческаго сердца изображаетъ авторъ ту душевную драму, тотъ процессъ все возрастающаго отчаянія, которымъ подтачивалась жизнь Анны. Жизнь эта уже вполнѣ опредѣлилась. Наступало время неотвратимыхъ, роковыхъ послѣдствій давно

пережитого прошлаго. Ничего не совершилось новаго, не произошло никакихъ внѣшнихъ перемѣнъ, но ревнивая любовь Анны всюду создавала фантомы опасностей, во всемъ видѣла страшные признаки охлажденія къ ней Вронскаго. Съ свойственною отчаявшеюся любви жестокостью, она старалась мучительными сценами дотронуться до чувствительнаго мѣста въ его душѣ, прозондировать эту душу, и изъ вспышекъ того раздраженія и пробивающагося озлобленія противъ нея, которыми онъ, случалось, отвѣчалъ на ея сцены, она все болѣе и болѣе убѣждалась, что любовь его къ ней исчезаетъ. Обыкновенно каждая размолвка ихъ кончалась примиреніемъ. Но однажды, выведенный изъ терпѣнія безпричинною и рѣзко-враждебною выходкой Анны, Вронскій уѣхалъ, не сказавъ того слова любви, котораго она отъ него хотѣла. Отчаяніе и какой-то непонятный страхъ охватили Анну. Она заметалась, чтобы вернуть его. Но записка ея не застала Вронскаго, на телеграмму же получился короткій отвѣтъ, что раньше десяти часовъ онъ вернуться не можетъ. Все показалось погибшимъ для Анны въ этомъ равнодушномъ отвѣтѣ телеграммы, и смерть представилось ей единственнымъ исходомъ и подходящимъ средствомъ отомстить Вронскому... На нее нашло какое-то холодное ясновидѣніе, когда она ѣхала на вокзалъ, чтобы еще разъ повидать его. «Моя любовь все дѣлается страстнѣе и себялюбивѣе, а его гаснетъ и гаснетъ, и вотъ отчего мы расходимся», продолжала думать она. «И помочь этому нельзя. У меня все въ немъ одномъ, и я требую, чтобъ онъ

есть больше и больше отдавался мнѣ. А онъ все больше и больше хочетъ уйти отъ меня. Мы именно шли навстрѣчу до связи, а потомъ неудержимо расходимся въ разныя стороны. И измѣнить этого нельзя». Получивъ на станціи записку Вронскаго, показавшуюся ей небрежною и холодною, Анна почувствовала, что все для нея кончено. Какая-то непреодолимая, слѣпая сила овладѣла ею и повела ее на смерть. «Туда! говорила она себѣ, глядя въ тѣнь вагона, на смѣшанный съ углемъ песокъ, которымъ были засыпаны шпалы,—туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь отъ всѣхъ и отъ себя». И она умерла ужасною смертью самоубійцы.

Въ трагической кончинѣ Анны многіе у насъ увидѣли кару, которой авторъ подвергъ свою героиню за измѣну супружескому долгу, и согласно такому взгляду весь романъ объявили проповѣдью узкой моралистической идеи. Близорукій взглядъ! Это значитъ—не видѣть ничего дальше поверхности, дальше внѣшняго дѣйствія, дальше тѣхъ квалификацій, которыя авторъ даетъ своимъ персонажамъ, говоря: это—мужъ, это—жена, это—любовникъ и т. д. Концепція романа несравненно глубже. Творчество графа Толстого чуждо какого-бы то ни было условнаго кодекса; оно опирается не на доктрины и системы, но на самую природу вещей. Всматриваясь въ духовный міръ человѣка, слѣдя за нимъ на путяхъ открытаго ему счастья, авторъ «Анны Карениной» понялъ, что этотъ міръ — не міръ произвола, что счастье человѣка,—сложнѣйшій и хрупкій продуктъ многихъ необходи-

мыхъ условій. Онъ понялъ существованіе вѣчныхъ, неотмѣнимыхъ волею человѣка, законовъ нравственнаго міра, понялъ, какая трудная задача дана каждому — пронести, подъ дѣйствіемъ этихъ законовъ жизни, чашу своего счастья. Онъ видѣлъ, какъ часто человѣкъ расплескиваетъ и разбиваетъ эту драгоценную чашу, какъ легкомысленно пренебрегаетъ указаніями совѣсти, этого непогрѣшимаго компаса, вложеннаго природою въ его душу, съ какою слѣпотою гонится за призраками счастья, съ какимъ озлобленіемъ и гордостью сознательно отказывается отъ правъ своего человѣческаго «первородства» изъ-за «чечевичной похлебки» минутныхъ наслажденій. Онъ видѣлъ много блуждающихъ, безсильно-борющихся и падающихъ — и онъ показалъ намъ гибель молодой и прекрасной жизни, вызванную нарушеніемъ законовъ объемлющей насъ природы, той природы, которая ничего не прощаетъ, ничего не забываетъ, а спокойно и безстрастно совершаетъ расправу возмездія.

Произвольно и комично было-бы навязывать природѣ законъ, воспрещающій женѣ бросать своего мужа, но мы чувствуемъ глубокую правду словъ автора, когда онъ говоритъ намъ, что человѣкъ, опустошившій свою душу и опершійся въ своей жизни единственно на себялюбивое наслажденіе, губитъ свое счастье. Анна погибла не потому, что оставила мужа, но потому, что въ предстоявшемъ ей выборѣ она взяла страсть, исключавшую для нея возможность удовлетворенія болѣе спокойныхъ и прочныхъ при-



изанностей. Отдавшись страсти, она должна была отказаться отъ всѣхъ прочихъ источниковъ счастья. Жить одною чувственною страстью невозможно уже потому, что такая страсть долго длиться не можетъ.

Не все, однако, на землѣ слезы и страданія, не все трагедія. Встрѣчается и тихая улыбка счастья, и радость, возможна на землѣ и идиллія. Загляните въ Покровское, деревню Левина, и вы увидите несомнѣнную идиллію. Увидите тихую и скромную семейную жизнь, почувствуете атмосферу любви, окружающую обитателей этого мирнаго уголка. Но и эта жизнь сложилась не сразу, не безъ борьбы и не безъ страданій. Съ перваго появленія Левина въ романѣ, мы уже знаемъ, что онъ любитъ хорошенькую и граціозную Кити Щербацкую и съ первыхъ же почти словъ его съ нею мы уже предчувствуемъ готовую обрушиться на него неудачу. Какъ ни симпатично относилась молодая дѣвушка къ простому, искреннему и умному Левину, но воображеніе ея уже успѣло плѣниться блестящимъ Вронскимъ, и она отказала сдѣлавшему ей предложеніе Левину. Печально вернулся онъ въ свою деревню и вошелъ въ свою одинокую и показавшуюся ему ненужною жизнь. Между тѣмъ страсть Вронскаго къ Карениной, круто повернувшая его жизнь, задѣла также и Кити. Обманутая въ своихъ надеждахъ, оскорбленная въ своемъ чувствѣ, Кити серьезно заболѣла. Только переживъ первое свое горе и выросши въ немъ душою, Кити поняла Левина и съ грустью думала о томъ

горѣ, которое она причинила ему. Вскорѣ послѣ своего выздоровленія, она встрѣтилась съ Левинымъ у Степана Аркадьевича Облонскаго. Встрѣча эта рѣшила ихъ судьбу. Левинъ понялъ, что по-прежнему любить ее, она почувствовала, что онъ имѣетъ для нея исключительное значеніе любимаго человѣка... Они сдѣлались мужемъ и женой. Послѣ свадьбы молодые супруги уѣхали въ деревню, и тутъ-то началась для нихъ счастливая идиллія. Въ изображеніи ихъ семейнаго счастья графъ Толстой остается, какъ и всегда, художникомъ-реалистомъ. Онъ ни на минуту не покидаетъ земли, никогда не переходитъ за черту возможнаго, никогда не забываетъ особенностей русскаго быта. Не сказочное счастье показываетъ онъ намъ, но тихую и простую жизнь со всею правдою здоровой, чистой любви, мелкихъ радостей и тревогъ, со всѣмъ ея колоритомъ обыденности, со всѣми естественными послѣдствіями брака, каковы—рожденіе дѣтей, новыя заботы о нихъ, новыя чувства и привязанности. Но въ этомъ мелкомъ и обыденномъ графъ Толстой умѣетъ показать великое и важное для человѣка. Въ его изображеніи семья представляется тѣмъ положеніемъ въ жизни, которое дѣйствительно отвѣчаетъ природѣ человѣка и въ которомъ онъ можетъ быть спокоенъ и счастливъ. Такова семья Николая Ростова, Пьера Безухова, такова семья и Левина.

Но исторія Левина этимъ не кончается. Ищущій отвѣта на вопросы жизни Пьеръ Безуховъ останавливается на семьѣ, удовлетворяется ею и въ ней

исчезаетъ. Левинъ именно изъ семьи возникаетъ передъ нами во всемъ своемъ значеніи и поднимаетъ свой вопросъ именно съ того мѣста, гдѣ кончился онъ для Пьера.

Счастье Левина не безоблачно. У него своя драма, своя Немезида. Драма эта связываетъ личность Левина съ процессомъ умственного развитія человѣчества и потому представляетъ глубокой общественный интересъ. Левинъ принесъ въ своей личности живую человѣческую душу, ищущую отвѣта на вопросы жизни; господствующее-же воззрѣніе вѣка, которому подчинился и онъ, разрушило его дѣтскія и юношескія вѣрованія и ничего не дало ему, чѣмъ-бы онъ могъ ихъ замѣнить, въ чемъ-бы онъ могъ найти отвѣтъ на неотступные вопросы сознанія. Вотъ изъ какой коллизіи выросла та внутренняя драма, которую переживалъ Левинъ.

«Безъ знанія того, что я такое и зачѣмъ я здѣсь — нельзя жить. А знать я этого не могу, слѣдовательно нельзя жить», говорилъ онъ себѣ. «Въ безконечномъ времени, въ безконечности матеріи, въ безконечномъ пространствѣ выдѣляется пузырекъ-организмъ, и пузырекъ этотъ подержится и лопнетъ, и пузырекъ этотъ—я».

«Это была мучительная неправда, но это былъ единственный, послѣдній результатъ вѣковыхъ трудовъ мысли человѣческой въ этомъ направленіи. Это было то послѣднее вѣрованіе, на которомъ строились всѣ, почти во всѣхъ отрасляхъ, изысканія человѣческой мысли. Это было царствующее убѣжденіе, и

Левинъ изъ всѣхъ другихъ объясненій, какъ все-таки болѣе ясное, невольно, самъ не зная когда и какъ, усвоилъ именно это.

«Но это не только была неправда,—это была жестокая насмѣшка какой-то злой силы, злой, противной, и такой, которой нельзя было подчиняться. Надо было избавиться отъ этой силы. И избавленіе было въ рукахъ каждаго. Надо было прекратить эту зависимость отъ зла. И было одно средство—смерть.

«И счастливый семьянинъ, здоровый человѣкъ, Левинъ былъ нѣсколько разъ такъ близокъ къ самоубійству, что пряталъ шнурокъ, чтобы не повѣситься на немъ, и боялся ходить съ ружьемъ, чтобы не застрѣлиться».

Но Левинъ жилъ, и жизнь его, покорная какимъ-то непонятнымъ ему законамъ, текла не безразлично, но проходила въ разнообразной дѣятельности и въ строгомъ соблюденіи установившихся правилъ. Продолжая мучиться занимавшими его вопросами, онъ въ то-же время старательно исполнялъ всѣ лежащія на немъ, какъ на мужъ и на хозяинъ, обязанности. Противорѣчіе это вызывало въ немъ новые вопросы и новыя мысли о томъ, что онъ живетъ хорошо, но думаетъ плохо.. Разговаривая однажды съ мужикомъ Ѳедоромъ, Левинъ услышалъ отъ него простыя слова, что Ѳоканычъ для души живетъ, Бога помнитъ. Слова эти поразили Левина, являясь для него точно какимъ-то откровеніемъ. Какой-то свѣтъ пролился изъ нихъ во мракъ терзающихъ его вопросовъ.

«А я искалъ чудесъ, жалѣлъ, что не видалъ чуда,

которое-бы убѣдило меня. Чудо матеріальное соблазнило-бы меня. А вотъ чудо, единственно возможное, постоянно существующее, со всѣхъ сторонъ окружающее меня,—и я не замѣчалъ его...

«Федоръ говорить, что Кирилль дворникъ живетъ для брюха. Это понятно и разумно. Мы всѣ, какъ разумныя существа, не можемъ иначе жить, какъ для брюха. И вдругъ тотъ-же Федоръ говорить, что для брюха жить дурно, а надо жить для правды, для Бога, и я съ намека понимаю его! И я, и миллионы людей, жившихъ вѣка тому назадъ и живущихъ теперь, мужики, нищіе духомъ и мудрецы, думавшіе и писавшіе объ этомъ, своимъ неяснымъ языкомъ говорящіе то-же, — мы всѣ согласны въ этомъ одномъ: для чего надо жить и что хорошо. Я со всѣми людьми имѣю только одно твердое, несомнѣнное и ясное знаніе; и знаніе это не можетъ быть объяснено разумомъ—оно внѣ его, и не имѣетъ никакихъ причинъ и не можетъ имѣть никакихъ послѣдствій».

Ему стало ясно, что, несмотря на всѣ его сомнѣнія, жизнь его держалась тѣми вѣрованіями, въ которыхъ онъ съ дѣтства былъ воспитанъ.

«Что-бы я былъ такое», продолжалъ онъ думать, «и какъ-бы прожилъ свою жизнь, еслибы не имѣлъ этихъ вѣрованій, не зналъ, что надо жить для Бога, а не для своихъ нуждъ? Я бы грабилъ, лгалъ, убивалъ. Ничего изъ того, что составляетъ главные радости моей жизни, не существовало-бы для меня...»

«Я искалъ отвѣта на мой вопросъ. А отвѣта на

мой вопросъ не могла дать мысль, — она несоизмѣрима съ вопросомъ. Отвѣтъ мнѣ дала сама жизнь, въ моемъ знаніи того, что хорошо и что дурно. А знаніе это я не приобрѣлъ ничѣмъ, но оно дано мнѣ вмѣстѣ со всѣми, дано потому, что я ни откуда не могъ взять его».

Вдумавшись въ значеніе пережитаго Левинымъ душевнаго кризиса, нельзя не сознаться, что эта скромная, простая личность является выразителемъ крупнѣйшаго вопроса нашего времени. Вѣчная природа человѣческаго духа, съ его неистребимыми потребностями, возстала въ Левинѣ противъ господства отрицанія, противъ безнадежнаго и неудовлетворяющаго міропониманія, овладѣвшаго умами нашего вѣка; страданіями своими онъ какъ-бы заплатилъ за историческія ошибки человѣческой мысли, потому что и здѣсь нѣтъ свободы, нѣтъ независимаго развитія личности, потому что жизнь поколѣній тѣсно связана, потому что и здѣсь ничто не прощается, и здѣсь царить тотъ-же законъ: Мнѣ отищеніе, и Азъ воздамъ.

При иной, болѣе абстрактной и сконцентрированной манерѣ творчества, графъ Толстой могъ-бы создать изъ Левина образъ, подобный Фаусту. Внутреннее содержаніе Левина, значеніе принесенной имъ идеи давали полную возможность для этого. Но этого не позволилъ реализмъ графа Толстого. Онъ не отступилъ отъ простоты изображаемаго имъ быта, и воплощая огромную идею, далъ ей конкретно-случайныя, скромныя формы обыденной дѣйствительности. «Если

тутъ есть истина, она должна быть понята и безъ чистаго образа, въ ея естественномъ жизненномъ проявленіи», какъ-бы говорить намъ авторъ своею манерой. Но если отъ такихъ пріемовъ творчества выигрываетъ правда дѣйствительной жизни, то нельзя не замѣтить, что, подчиняясь неизбѣжнымъ законамъ перспективы, въ этой правдѣ тонетъ и умаляется высказанная авторомъ идея, и чтобы придать ей надлежащіе размѣры, читатель долженъ отвлечь ее отъ лицъ и приподнять надъ дѣйствіемъ романа.

Но что-же это за идея? Въ чемъ ея сущность?

Левинъ, говоритъ намъ авторъ, только тогда нашелъ выходъ изъ заколдованнаго круга своихъ сомнѣній, только тогда освободился отъ своихъ вопросовъ, когда понялъ, что мысль несоизмѣрима съ этими вопросами, что разумъ безсиленъ дать отвѣтъ на нихъ. Только тогда онъ успокоился, когда фактъ, природу, свою живую душу поставилъ выше разума, когда пересталъ искать его санкцій и подчинился тому, что непосредственно жило въ немъ. Вотъ эту-то идею незаконной власти разума надъ жизнью и выражаетъ душевная драма Левина. Увлечшись успѣхами разума, человѣчество увѣровало въ него, какъ въ универсальную силу, все обнимающую и способную раскрыть основанія всего существующаго. Но вѣковая работа мысли въ этомъ направленіи только разрушила прежнія вѣрованія человѣка, которыя были дѣйствительно неразумны, и ничего не дала ему для жизни. И пора уже признать человѣчеству, говоритъ авторъ, что разумъ и не можетъ

ничего дать ему въ отвѣтъ на его неутоленную духовную жажду. Разумъ заключаетъ въ себѣ только отраженіе жизни и самъ есть такой-же частичный фактъ природы, какъ и живущее въ душѣ человѣка непосредственное сознаніе долга. За что-же онъ поставленъ выше этого непосредственнаго чувства, зачѣмъ искать невозможныхъ раціоналистическихъ обоснованій для ясныхъ и всѣмъ понятныхъ требованій совѣсти? Изумительное порабощеніе души разумомъ! Вѣчное идолопоклонство человѣка!..

Вопросъ современнаго человѣческаго счастья сводится, такимъ образомъ, къ сверженію такъ долго тяготѣвшаго надъ душой ига разума и восстановленію того гармоническаго состоянія, когда человѣкъ жилъ всею полнотою своихъ духовныхъ силъ и вполне удовлетворялся присущимъ ему непосредственнымъ сознаніемъ добра и зла.

---



## IX.

### „Смерть Ивана Ильича“.

Изъ числа послѣднихъ произведеній графа Толстого, собранныхъ въ XII томѣ его сочиненій, произведеніемъ собственно беллетристическимъ можно назвать только одинъ рассказъ—«Смерть Ивана Ильича». Рассказъ этотъ, впервые появившійся въ настоящемъ изданіи, былъ встрѣченъ всеобщимъ интересомъ, показывающимъ, какъ много наше общество ждетъ еще отъ своего художника. И оно не обманулось въ своихъ ожиданіяхъ. Если «Смерть Ивана Ильича» ничего не прибавляетъ послѣ «Войны и Мира» и «Анны Карениной» къ характеристикѣ художественнаго таланта графа Толстого, зато даетъ очень много для опредѣленія его міросозерцанія. Рассказъ этотъ связанъ тѣснѣйшимъ образомъ съ процессомъ внутренней жизни нашего художника за послѣдніе годы и, очевидно, произведенъ тѣми-же идеями и настроеніями, которыя нашли себѣ выраженіе въ «Исповѣди» и подобныхъ ей морально-философскихъ произведеніяхъ.

По неизмѣнному закону природы, человѣкъ долженъ умереть. Эта неизбежность смерти придаетъ особый смыслъ и значеніе всей его жизни. Мы сознаемъ жизнь, какъ что-то конечное, подлежащее необходимому уничтоженію, поглощенію чѣмъ-то безконечнымъ и неизвѣстнымъ, и это сознаніе заставляетъ насъ цѣнить жизнь и дорожить ею, какъ переходящимъ и невозвратимымъ благомъ. Мы естественно желаемъ воспользоваться имъ наилучшимъ образомъ. Но въ чемъ эта наилучшая жизнь? Какую изъ тысячи предстоящихъ человѣку возможностей долженъ избрать онъ, чтобы не погубить свою жизнь, не промѣнять прекрасныхъ даровъ ея на ничтожные, мелкіе соблазны? Вотъ вѣчный вопросъ человѣчества, и этотъ вопросъ во всемъ его громадномъ значеніи всталъ передъ нашимъ художникомъ. «Смерть Ивана Ильича» есть отвѣтъ на этотъ вопросъ. Но отвѣтъ этотъ не содержитъ въ себѣ идеала человѣческой жизни; мы не найдемъ въ немъ указанія, какъ долженъ жить человѣкъ, но увидимъ, какъ въ зеркалѣ, ложъ и ничтожность жизни современнаго человѣка, увидимъ его какъ жертву общественнаго заблужденія, до того помрачившаго его сознаніе, что онъ всю жизнь гоняется за пустыми призраками счастья, за условными фикціями должнаго и уже не можетъ понять истинной красоты жизни, не можетъ желать ея дѣйствительныхъ благъ. Здѣсь авторъ говоритъ, какъ не должно жить. «Смерть Ивана Ильича» есть произведеніе чисто отрицательное.

еть смерть человѣка, процессъ его постепеннаго разрушенія. Правда страданій, безсилія и грязи тѣла, правда душевныхъ состояній, правда предсмертной агоніи схвачена и передана художникомъ съ замѣчательнымъ мастерствомъ и тѣмъ безопащнымъ реализмомъ, примѣровъ котораго немного найдется даже въ его творествѣ. Но смерть привлекла вниманіе нашего художника не ради нея самой, а ради ея значенія для жизни. Передъ безстрастнымъ лицомъ смерти ложь ненужна, искусственныя цѣли и удовольствія невозможны; прожитая жизнь проходитъ передъ прояснившимся сознаніемъ человѣка, и ему открывается ея дѣйствительное достоинство, истинное значеніе всѣхъ его желаній и дѣйствій. Поэтому смерть есть лучший \* 11. показатель жизни: люди различной жизни различно умираютъ. Вѣрующій умираетъ не такъ, какъ скептикъ; эгоистъ не такъ, какъ человѣкъ любящій; труженикъ не такъ, какъ праздный искатель наслажденій.

Иванъ Ильичъ умираетъ мучительно и мало- \* душно. Онъ былъ боленъ, онъ страдалъ физически, «но ужаснѣе его физическихъ страданій были его нравственныя страданія, и въ этомъ было главное его мученіе».\* Нравственныя страданія его состояли въ томъ, что во время болѣзни ему первый разъ пришла въ голову мысль, что вся его сознательная жизнь была «не то», что онъ погубилъ свою жизнь.

«Ему пришло въ голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что онъ прожилъ свою жизнь не такъ, какъ должно \* было, — что это могла быть правда. Ему пришло въ

голову, что тѣ его чуть замѣтныя поползновенія борьбы противъ того, что наивыше поставленными людьми считалось хорошимъ, поползновенія чуть замѣтныя, которыя онъ тотчасъ-же отгонялъ отъ себя, что они-то и могли быть настоящія, а остальное все могло\* быть не то. И его служба, и его устройство жизни,\* и его семья, и эти интересы общества и службы,\* все это могло быть не то». Сознаніе, что онъ жилъ не такъ, что онъ безвозвратно погубилъ все, что\* ему было дано, сознаніе ничтожности и ненужности всего пережитого причиняло ему страшную и все возрастающую боль. Онъ возненавидѣлъ окружающихъ его близкихъ людей—жену, дочь, доктора,\* такъ-какъ они напоминали ему обманъ, въ которомъ прошла его жизнь. Чѣмъ ближе подходила смерть, тѣмъ ужаснѣе становилась мука, пока, наконецъ, она не превратилась въ какую-то безобразную судорогу\* отчаянія, въ какую-то непрерывную нравственную пытку. Нельзя читать безъ ужаса и отвращенія послѣднюю страницу его жизни.

«Съ этой минуты, пишетъ художникъ, начался тотъ три дня не перестававшій крикъ, который такъ\* былъ ужасенъ, что нельзя было за двумя дверями безъ ужаса слышать его... Онъ понялъ, что онъ пропалъ, что возврата нѣтъ, что пришелъ конецъ, совсѣмъ конецъ, а сомнѣніе такъ и не разрѣшено, такъ и остается сомнѣніемъ.

«У! Уу! У!» кричалъ онъ на разныя интонаціи. Онъ началъ кричать: «не хочу!» и такъ и продолжалъ кричать на букву «у».

Всѣ три дня, въ продолженіе которыхъ для него не было времени, онъ барахтался въ томъ черномъ мѣшкѣ, въ который просовывала его невидимая, непреодолимая сила. Онъ бился, какъ бьется въ рукахъ палача приговоренный къ смерти зная, что онъ не можетъ спастись; и съ каждой минутой онъ чувствовалъ, что, несмотря на всѣ усилія борьбы, онъ ближе и ближе становился къ тому, что ужасало его.\* Онъ чувствовалъ, что мученье его и въ томъ, что онъ всовывается въ эту черную дыру, и еще больше въ томъ, что онъ не можетъ пролѣзть въ нее. Пролѣзть-же ему мѣшаетъ признанье того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправданіе своей жизни цѣпляло и не пускало его впередъ и больше всего мучило его».

Только за часъ до смерти онъ успокоился, признавъ, что всего лучше ему умереть. Страхъ смерти исчезъ, ему показалось даже, что исчезла самая смерть, и новая, непонятная живымъ, радость охватила его душу.

Но что же такое Иванъ Ильичъ? Какою жизнью заслужилъ онъ свою предсмертную муку? — Иванъ Ильичъ не былъ злой или безчестный человѣкъ, не совершилъ ничего преступнаго или даже неприличнаго. Жизнь его была самая простая и обыкновенная — и самая ужасная, прибавляетъ авторъ. Онъ былъ сынъ петербургскаго чиновника, тайнаго совѣтника Ильи Ефимовича Головина. Воспитывался въ училищѣ правовѣдѣнія и здѣсь уже обнаружилъ присущія ему качества человѣка способнаго, веселаго,

добродушнаго и общительнаго, но въ то-же время строго исполняющаго свой долгъ, которымъ онъ считалъ все то, что признавалось долгомъ наивысше поставленными людьми. Въ старшихъ классахъ училища онъ отдавался чувственности, тщеславію и даже либеральности, но всегда только до извѣстнаго предѣла, вслѣдствіе чего всѣ эти увлеченія молодости не оставили большихъ слѣдовъ въ его жизни. Выйдя изъ правовѣдѣнія, онъ уѣхалъ въ провинцію на мѣсто чиновника особыхъ порученій при губернаторѣ. Здѣсь онъ съумѣлъ устроиться такъ-же легко и пріятно, какъ и въ правовѣдѣніи. «Онъ служилъ, дѣлалъ карьеру и вмѣстѣ съ тѣмъ пріятно и прилично веселился... Была (у него) и связь съ одной изъ дамъ, называвшейся щеголеватому правовѣду; были и поѣздки въ дальнюю улицу послѣ ужина; было и подслуживанье начальнику и даже женѣ начальника; но все это носило на себѣ такой высокій тонъ порядочности, что все это не могло быть называемо дурными словами: все это подходило только подъ рубрику французскаго изрѣченія: *«il faut que jeunesse se passe»*».

Со введеніемъ судебной реформы Иванъ Ильичъ получилъ мѣсто судебного слѣдователя и переѣхалъ въ другой городъ. Здѣсь онъ зажилъ такъ-же пріятно, какъ прежде. Здѣсь-же онъ встрѣтилъ свою будущую жену, привлекательную, умную, блестящую дѣвушку—Прасковью Ѳедоровну. Она влюбилась въ него и онъ женился на ней. «Сказать, что Иванъ Ильичъ женился потому», объясняетъ авторъ, «что онъ полюбилъ свою невѣсту и нашелъ въ ней сочувствіе

своимъ взглядамъ на жизнь, было-бы также несправедливо, какъ и сказать то, что онъ женился потому, что люди его общества одобряли эту партію. Иванъ Ильичъ женился по обоимъ соображеніямъ: онъ дѣлалъ пріятное для себя, приобрѣтая такую жену, и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлалъ то, что наивысше поставленные люди считали правильнымъ.

Брачная жизнь увлекла Ивана Ильича только на первое время, пока она увеличивала пріятность жизни и не налагала особенныхъ обязанностей. Но со времени беременности жены и затѣмъ рожденія дѣтей, когда Иванъ Ильичъ понялъ всю трудность и сложность семейныхъ обязанностей, онъ, чтобы не нарушать пріятности и приличія своей жизни, выработалъ къ семьѣ особенное отношеніе, которое оставляло свободною значительную часть его личности. Въ семейной жизни онъ искалъ удобствъ домашняго обѣда, хозяйки, постели и того приличія внѣшнихъ формъ, которое требовалось общественнымъ мнѣніемъ. Онъ принималъ отъ семьи и тѣ удовольствія, которыя иногда она доставляла ему; если-же онъ встрѣчалъ непріятности и поползновенія на свою личность, то тотчасъ уходилъ въ выгороженный имъ міръ службы и въ немъ успокоивался.

По мѣрѣ усложненія семейной жизни новыми обязанностями воспитанія дѣтей, Иванъ Ильичъ все больше и больше удалялся отъ нея и уходилъ въ службу. Онъ сдѣлался честолюбивъ и его служебное положеніе перестало удовлетворять его. Послѣ семнадцати лѣтъ службы, онъ былъ всего прокуроромъ

✱  
окружнаго суда. Важнѣйшимъ интересомъ его жизни сдѣлалось повышеніе по службѣ, главнымъ дѣломъ — та политика отношеній съ выше-поставленными людьми, которая способна была поднять его на желаемую ступень. На этомъ поприщѣ Ивану Ильичу пришлось испытать и обидныя неудачи, и неожиданный успѣхъ. Онъ ждалъ мѣста предсѣдателя въ одномъ изъ университетскихъ городовъ, но мѣсто это успѣлъ получить другой. При слѣдующемъ назначеніи, Ивана Ильича опять обошли. Раздраженный, обиженный, стѣсненный въ средствахъ, Иванъ Ильичъ рѣшилъ уже бросить службу по судебному вѣдомству и перейти въ какое-нибудь другое, когда неожиданная переменѣна лицъ наверху вытащила и его. Онъ получилъ мѣсто члена судебной палаты. Этотъ успѣхъ осчастливилъ Ивана Ильича. Въ планахъ и предположеніяхъ новой жизни онъ вполне сошелся съ женою, и семейный миръ дополнилъ его довольство. Онъ уѣхалъ въ новый городъ принимать должность и ✱ устроить квартиру. На это устройство онъ положилъ много труда и заботъ, стараясь сдѣлать все такъ, какъ это бываетъ у богатыхъ людей. Устроивъ все, онъ вызвалъ жену и дѣтей и снова началъ евою приличную и пріятную жизнь. Онъ искалъ и умѣлъ находить удовольствія въ жизни. «Радости служебныя были радости самолюбія, радости общественныя были радости тщеславія; но настоящія радости Ивана Ильича были радости игры въ винтъ». Были, конечно, и непріятности. Непріятны были ссоры съ женою, попрежнему случавшіяся между ними, непріятно было



всякое разрушеніе заботливо созданной обстановки, всякое пятно на скатерти или штоффъ, всякій поломъ мебели или порча посуды. Жизнь Ивана Ильича сложилась, вообще говоря, согласно его желаніямъ и стремленіямъ. Для полноты комфорта не доставало развѣ одной комнаты, до полного удовлетворенія не хватало развѣ рублей 500 въ годъ...

Вдругъ въ мирную и счастливую жизнь Ивана Ильича, готовую уже, кажется, приблизиться къ его идеалу, ворвалось что-то страшное и неожиданное. Иванъ Ильичъ заболѣлъ. Болѣзнь эта обрушилась на него, какъ снѣгъ на голову, нежданно-негаданно, отъ причины пустой и глупой: устраивая квартиру, онъ упалъ какъ-то съ лѣстницы и ударился бокомъ о раму. И изъ этого ушиба, въ то время, когда Иванъ Ильичъ забылъ уже и думать о немъ, развилась болѣзнь, приведшая его къ смерти.

Вотъ какова жизнь Ивана Ильича. Оглядываясь на эту жизнь, мы понимаемъ предсмертное отчаяніе Ивана Ильича. Въ его жизни — отъ юности и до смерти — не было ничего человѣчески-прекраснаго, добраго, ничего такого, что собственною силою и значеніемъ своимъ могло-бы удовлетворить духовную личность человѣка, воспоминаніе о чемъ могло-бы успокоить его передъ смертью. Его жизнь была непрерывнымъ стремленіемъ къ цѣлямъ искусственнымъ и ничтожнымъ, суетнымъ служеніемъ жестокому и скудному Молоху, способному поглотить всю жизнь, но безсильному дать своимъ поклонникамъ хотя-бы одну истинную, человѣческую радость. Онъ

никогда не жилъ прекрасными, благими силами души, данными человѣку природою, но довольствовался ихъ жалкими суррогатами. вмѣсто правды—въ его жизни приличіе, вмѣсто любви—чувственность, вмѣсто содѣйствія человѣческому добру — честолюбіе и корыстолюбіе, вмѣсто высокихъ наслажденій красотою міра и человѣка — ничтожныя удовольствія... Отвратительною кажется намъ эта пустая жизнь выморочнаго себялюбія, жизнь, въ которой нѣтъ ничего искупающаго ея постоянную пошлость и мелочность, въ которой высшею радостію человѣка становится игра въ винтъ, и намъ дѣлается понятнымъ, что нѣтъ человѣка, котораго подобная жизнь могла бы удовлетворить. Не удовлетворяетъ она и Ивана Ильича. И когда передъ смертію она встала передъ нимъ во всемъ своемъ содержаніи, онъ пришелъ въ ужасъ отъ сознанія чего-то лучшаго въ жизни, что онъ промѣнялъ на свои жалкія дѣла.

Мы сказали уже, что «Смерть Ивана Ильича» есть произведеніе отрицательное, и сила отрицанія въ немъ такова, что, прочтя его, вы страшно чувствуете ложность изображаемой жизни, чувствуете, что такъ жить нельзя, не должно и не стоить. Это впечатлѣніе разсказа неотразимо, этотъ смыслъ его не подлежитъ сомнѣнію и не вызываетъ разногласія; но значеніе разсматриваемаго произведенія зависитъ отъ степени всеобщности или исключительности раскрываемой имъ жизни—и въ этомъ пунктѣ мнѣнія значительно расходятся. Намъ приходилось слышать по поводу разбираемаго разсказа, что графъ Толстой съу-

зиль значеніе своей отрицательной идеи, представивъ въ Иванѣ Ильичѣ какое-то нравственно убогое, обиженное судьбою существо. Это, говорятъ, своего рода Акакій Акакіевичъ, личность жалкая, униженная природой и не имѣющая никакихъ правъ представлять въ себѣ жизнь нашего общества. Убожество и ничтожность его жизни не смутятъ никого изъ этого общества, потому что всякій невольно почувствуетъ свое превосходство надъ Иваномъ Ильичемъ, неизбежно замѣтитъ, что уровень его личного достоинства несравненно выше, чѣмъ тотъ, до котораго упалъ этотъ жалкій чиновникъ—Иванъ Ильичъ...

Въ этомъ мнѣніи мы можемъ видѣть только самообольщеніе. Человѣку нашего общества не хочется признать себя въ томъ беспощадномъ зеркалѣ, которое поднесъ ему художникъ, и онъ утверждаетъ, что оно изображаетъ не его, а какихъ-то другихъ людей. Съ точки зрѣнія нравственного достоинства, со стороны способности своей удовлетворить духовныя потребности человѣка, жизнь Ивана Ильича дѣйствительно ничѣмъ не выше жизни Акакія Акакіевича. Но чѣмъ же выше въ этомъ отношеніи жизнь нашего культурнаго общества? Въ чемъ нравственное содержаніе его жизни, какія духовныя стремленія присущи ему, въ какомъ типѣ находитъ оно свое настоящее выраженіе? Въ нашемъ обществѣ есть несомнѣнно живыя струи: есть проблески духовныхъ потребностей, есть исканіе правды жизни, но всѣ эти струи текутъ прочь отъ преобладающаго, установившагося и окрѣпшаго русла нашей культурной жизни; всѣ

потребности духа, всё исканіе правды отрываютъ лишь немногія единицы отъ массы нашего общества, покорной извѣстному, традиціонному порядку жизни. Все это отщепенцы и протестанты общества, уходящіе отъ него то въ мистицизмъ, то въ трудовую народную жизнь, то въ скептическое, угрюмое одиночество. Отдѣлите ихъ—и вы получите то ядро культурнаго общества, достойнымъ представителемъ котораго является Иванъ Ильичъ. Одинъ больше успѣлъ по службѣ, другой больше страсти вложилъ въ свои отношенія къ женщинѣ, третій добился большаго богатства,—въ этомъ разнообразіе безконечное; но духъ ихъ жизни, ея внутренній смыслъ, тотъ тонъ, который дѣлаетъ музыку жизни,—у всѣхъ одинъ и тотъ же. И это тотъ-же тонъ, которымъ звучитъ небольшая исторія жизни и смерти Ивана Ильича.

Разсматриваемое произведеніе не имѣетъ, конечно, универсальнаго значенія. Это не жизнь и не смерть человѣка вообще. Не имѣетъ оно также значенія національнаго: Иванъ Ильичъ не представитель русскаго народа, не выразитель русской души. Значеніе его опредѣляется тою сферою современнаго человѣчества, которую мы называемъ культурнымъ классомъ: Иванъ Ильичъ—это художественное обобщеніе жизни этого класса; это образъ, въ которомъ выразилось все типическое изъ внутренняго, духовнаго содержанія этой жизни.

---

Подведемъ теперь итогъ всему сказанному о художественныхъ произведеніяхъ нашего писателя.

Графъ Толстой долго работалъ въ литературѣ и написалъ очень много. Несмотря на эту продолжительность его творческой дѣятельности и на разнообразіе затронутыхъ имъ мотивовъ, художественный міръ его созданій представляется органически единымъ. Міросозерцаніе автора, одѣвшееся въ художественные образы, въ своихъ существенныхъ чертахъ осталось и въ послѣднихъ его произведеніяхъ такимъ-же, какимъ обрисовалось въ первыхъ. Съ самаго начала своей литературной дѣятельности онъ выступилъ безстрашнымъ и неутомимымъ искателемъ истины человѣческой жизни, и та-же задача свѣтила ему и въ его послѣднихъ созданіяхъ. Творчество графа Толстого всегда тяготѣло къ одному центру, двигалось и развивалось однимъ основнымъ интересомъ—интересомъ къ человѣческой личности. Что такое человѣческая личность по ея внутреннему содержанию? Какія потенціи даны ей природою? Какъ можетъ жить человѣкъ на землѣ и насколько открытыя ему возможности хороши или дурны, насколько онѣ могутъ удовлетворить человѣка, составить его счастье?—вотъ вопросы, формирующіе творческіе замыслы нашего художника, составляющіе неизмѣнную основу всѣхъ его произведеній. Доискиваясь отвѣта на эти вопросы, онъ проявилъ ту смѣлость и требовательность духа, ту ясность и трезвость мысли, которыя не позволили ему удовлетвориться обманами, какъ бы ни былъ высокъ ихъ автори-

теть у человечества, но заставили идти до конца во всѣхъ изслѣдованіяхъ жизни, раскрывая всю ея правду. Въ немъ съ необычайною силою сказались тѣ свойства и стремленія духа, которыя создали реалистическое направленіе въ искусствѣ. Въ качествѣ смѣлаго и послѣдовательнаго реалиста, онъ разоблачилъ немало человѣческихъ обмановъ, разрушилъ много кумировъ. Здѣсь, на почвѣ искусственныхъ, аффектированныхъ идеаловъ, онъ является первый разъ отрицателемъ.

Но какую же идею принесъ онъ въ своемъ реализмѣ, какимъ чувствомъ отвѣтилъ на добытую правду жизни?

Были и есть художники, въ душѣ которыхъ настолько преобладала потребность чистой, абстрактной красоты, что невозможность осуществленія ея въ дѣйствительности опредѣляла все отношеніе ихъ къ жизни. Они могли найти себѣ удовлетвореніе только въ созданіяхъ строгаго, классическаго искусства и, воспитавшись на его образцахъ, выносили глубокое разочарованіе изъ всѣхъ столкновеній съ дѣйствительностью природы и человѣка. Они искали чистыхъ идеаловъ красоты, ума, страсти, величія; дѣйствительность же—въ силу ея необходимыхъ законовъ—предлагала имъ смѣшеніе красоты съ безобразіемъ, ума съ пошлостью, страсти съ мелочными заботами повседневности, величія съ ничтожествомъ. И они съ грустнымъ презрѣніемъ смотрѣли на землю и на земной удѣлъ человѣка. Въ своемъ творествѣ они часто спускались на землю, изображали ея правду,

но изображали зло, саркастически, изображали затѣмъ, чтобы осмѣять или оплакать ее, чтобы презрѣніемъ къ ней выразить горькій протестъ гордаго и свободного духомъ человѣка противъ его мелкаго земнаго жребія. Это—истинные представители пессимизма. Таковы Байронъ, Гейне, Альфредъ де Мюссе, таковъ отчасти нашъ Тургеневъ. Но не таковъ графъ Толстой. Онъ умѣетъ любить дѣйствительность такую, какъ она есть; въ его сердцѣ живетъ какое-то иное чувство, открывающее ему глубокій смыслъ жизни и заставляющее его не только мириться съ ними, но и находить для нихъ высшее оправданіе. Ни одинъ изъ героевъ его не представляется намъ безусловно красивымъ, благороднымъ, самоотверженнымъ или сильнымъ, но многихъ изъ нихъ мы не можемъ не любить за то человѣчески-прекрасное, что показалъ намъ въ нихъ авторъ. Вспомнимъ еще разъ Пьера Безухова, Андрея Болконскаго, Наташу, Левина. Всѣ они въ высшей степени жизненны и правдивы, всѣ они несовершенны, но въ то же время всѣ они—прекрасны. Создавъ эти образы, *графъ Толстой далъ новое содержаніе прекрасному*. Поэты-пессимисты отрицаютъ дѣйствительную жизнь во имя несбыточныхъ грезъ и желаній человѣка; графъ Толстой отрицаетъ эти красивыя фантазіи во имя жизни. Онъ не разъ изображалъ полное несогласіе жизни съ этими фантастическими идеалами, но для него жизнь всегда была дороже этого увлекательнаго бреда, и во всѣхъ ихъ коллизіяхъ виноватою онъ считалъ не ее—за то, что она оказа-

лась безсильною выполнить мечту человѣка, но самого человѣка — за то, что онъ привязалъ свое счастье къ неосуществимому идеалу. Приведя жизнь къ правдѣ, очистивъ ее отъ условныхъ воззрѣній, графъ Толстой видитъ въ ней не только зло и страданіе, не только убожество и животность. Онъ находитъ въ ней несомнѣнные блага, умѣетъ понять ихъ дѣйствительное достоинство и умѣетъ сдѣлать ихъ предметомъ истинной поэзіи. Поэзія его не есть, конечно, восторженная молитва страстнаго поклонника благъ жизни,—она вся проникнута спокойнымъ и нѣсколько созерцательнымъ настроеніемъ, но это спокойствіе—плодъ мужественнаго и глубокаго чувства установившейся личности, смирившейся передъ необходимостями природы, передъ своимъ земнымъ жребіемъ и убѣдившейся въ томъ, что жребій этотъ далеко не такъ скуденъ, какъ представляли себѣ его поэты-пессимисты, что, заключивъ человѣка въ огромную тюрьму его земной жизни, природа дала ему—на радость и утѣшеніе—много своихъ прекрасныхъ и разнообразныхъ даровъ и что то, чего не помѣстила она въ стѣнахъ этой тюрьмы, останется для него навсегда недоступнымъ.

Но поэтизируя дѣйствительность человѣческой жизни, графъ Толстой относится къ ней далеко не безразлично: его поэзія не есть сплошная санкція дѣйствительности. Онъ видитъ въ ней добро и возможность счастья, но онъ знаетъ также, что человѣкъ не можетъ жить только мотивами добра, что плохо умѣетъ онъ пользоваться открытымъ ему счастьемъ;



онъ видитъ массу зла и заблужденій, видитъ, какъ часто человѣкъ ошибочно строитъ зданіе своей жизни. Все построеніе современныхъ культурныхъ обществъ онъ считаетъ основаннымъ на лжи, на забвеніи естественныхъ потребностей духовной природы человѣка. Здѣсь во второй разъ онъ является отрицателемъ: онъ отрицаетъ современную дѣйствительность, но отрицаетъ ее во имя тѣхъ благъ человѣческаго добра и естественнаго счастья, которыя возможны для человѣка и которыя не находятъ себѣ удовлетворенія въ жизни современныхъ обществъ.

---

## Х.

### Этическое учение графа Толстого.

Сдѣлавши характеристику графа Толстого, какъ художника, мы считаемъ необходимымъ, для полноты нашего очерка, сказать нѣсколько словъ и объ этическомъ его ученіи.

Въ сферѣ духовной жизни—не только у насъ въ Россіи, но и во всей Европѣ—графъ Толстой является въ настоящее время безспорно самою крупною личностью. Какъ никто другой, онъ привлекаетъ къ себѣ мысль и вниманіе современнаго человѣка: онъ возбуждаетъ цѣлое умственное движеніе среди нашего общества, онъ имѣетъ уже учениковъ и послѣдователей. И, какъ мы уже замѣтили выше, интересъ къ личности нашего писателя основывается, главнымъ образомъ, не на художественныхъ его созданіяхъ, которыя до сихъ поръ еще недостаточно поняты, но на содержаніи высказанныхъ имъ въ послѣднее время нравственныхъ идей.

Немало вниманія удѣлила гр. Толстому и наша періодическая печать. И нужно сказать, что большин-

ство ея органовъ отнеслось къ идеямъ нашего автора отрицательно. Но, несмотря на цѣлый рядъ этихъ отрицательныхъ критикъ, вопросъ о достоинствѣ и правдѣ ученія графа Толстого все-же остается открытымъ; всѣ эти критики лишь поверхностно касаются своего предмета, ограничиваются только разборомъ отдѣльныхъ, произвольно вырванныхъ и подчасъ дѣйствительно парадоксальныхъ, мнѣній автора, и ни одна изъ нихъ даже не потрудились представить разматриваемое ученіе во всемъ его цѣломъ, ни одна не направила своего анализа на его основную идею, на его отличительную сущность.

Что-же такое графъ Толстой? Какую идею развилъ онъ въ своемъ ученіи? Въ чемъ сущность этого ученія? Вотъ вопросъ, на который необходимо отвѣтить ясно и опредѣленно, прежде чѣмъ подвергать оцѣнкѣ то или другое изъ его положеній или говорить о значеніи всего его міросозерцанія. Двѣнадцатая часть сочиненій графа Толстого, присоединяясь къ извѣстному уже содержанію его прежнихъ произведеній, главнымъ образомъ его «Исповѣди», представляетъ уже достаточный матеріалъ для опредѣленія основныхъ началъ его ученія. Вотъ эти-то основы мы и постараемся уяснить въ настоящей главѣ.

Ученіе графа Толстого обнимаетъ не какой-либо спеціальный вопросъ знанія, но содержитъ въ себѣ вопросъ человѣческой жизни въ его непосредственномъ, практическомъ значеніи; его можно сравнивать не съ методическими изслѣдованіями современной науки, даже не съ попытками философіи, стремя-

щейся къ объясненію міра, но скорѣе всего съ ученіями такихъ моралистовъ древности, какъ Будда или Сократъ, которые прямо говорили человѣку, какъ должно ему жить на землѣ. Ученіе графа Толстого, это—полное раскрытіе его внутренней жизни, это—дѣйствительно «исповѣдь», но исповѣдь сердца, которому суждено было пережить и перестрадать великими и общими сомнѣніями и вопросами нашего времени.

Въ области своей нравственной жизни человѣкъ сознаетъ себя существомъ свободнымъ: онъ можетъ жить и такъ, и иначе, можетъ направить свою жизнь къ той или другой цѣли, можетъ брать отъ жизни тѣ или другіе ея дары. Но для того, чтобы быть спокойнымъ и счастливымъ, чтобы не испытывать мукъ и сомнѣній, человѣкъ необходимо долженъ быть убѣжденъ, что избранный имъ въ жизни путь есть путь наилучшій.

Л. Н. Толстой, идя обычнымъ путемъ людей нашего культурнаго общества, не былъ спокоенъ и счастливъ. Обладая всѣмъ тѣмъ, что могло-бы служить вѣнцомъ желаній интеллигентнаго человѣка, онъ испытывалъ неотступную тревогу глубокихъ сомнѣній. Эта тревога въ немъ происходила отъ того, что въ той жизни, которую онъ велъ среди своего общества, и въ томъ міросозерцаніи, которое онъ воспринялъ отъ своего времени, затерялись смыслъ и цѣль человеческой жизни. А сознаніе этой цѣли и этого смысла необходимо для человѣка. Напряженно и мучительно сталъ онъ доискиваться этого смысла.

Жизнь, какъ явленіе міра, логически необходимо представляется намъ съ неизбѣжными моментами ея возникновеніи и прекращенія — рожденія и смерти. Какой-же смыслъ можетъ имѣть эта конечная человѣческая жизнь? Какой смыслъ ея не уничтожается неизбѣжностью смерти? Этотъ вѣковѣчный вопросъ человечества всталъ и передъ графомъ Толстымъ. Гдѣ искать отвѣта на него? Въ положительной наукѣ? Но она только объясняетъ явленія, даетъ отвѣты только на вопросъ: почему существуетъ то или другое, а не на вопросъ:—зачѣмъ. Она могла-бы, да и то лишь достигнувъ неопредѣленно высокой ступени развитія, — она могла-бы сказать, что жизнь человѣческая явилась благодаря такимъ-то и такимъ-то сочетаніямъ частицъ, такимъ-то и такимъ-то условіямъ, что она должна прекратиться благодаря такимъ-то и такимъ-то законамъ этихъ сочетаній, но за разрѣшеніе вопроса о смыслѣ жизни она не берется и взяться не можетъ, такъ какъ при изслѣдованіи природы совершенно устраняетъ вопросы о цѣли и абсолютномъ смыслѣ явленій.

Искать-ли отвѣта въ умозрительной философіи? Но послѣдняя, по словамъ графа Толстого, только ставитъ этотъ вопросъ, а не отвѣчаетъ на него. Всякій отвѣтъ ея есть, въ сущности, только усложненный вопросъ и не можетъ быть ничѣмъ инымъ, такъ какъ всѣ свои построенія философія выводитъ изъ разума, а для человѣческаго разума недоступна связь конечнаго съ безконечнымъ.

Вопросъ оставался нерѣшеннымъ, жизнь продол-

жала казаться лишенною смысла, а жить безъ смысла жизни было невозможно. Но какъ-же живутъ и жили люди? Въ отношеніи къ поднятому графомъ Толстымъ вопросу всѣ люди раздѣляются на двѣ категоріи. Для однихъ, для людей того времени и того общества, гдѣ жилъ гр. Толстой, смыслъ ихъ жизни былъ потерянъ, такъ-же какъ и для него; для другихъ—для огромной массы живущаго и прежде жившаго человѣчества, жизнь имѣла ясный, вполне опредѣленный смыслъ. Люди первой категоріи жили четырьмя различными исходами изъ своего положенія. Одни изъ нихъ вовсе не знали вопроса: не сознавая смысла своей жизни, они вовсе не думали о немъ и не искали его, а жили себѣ изо дня въ день своими органическими потребностями и цѣлями. Но это, можетъ быть, и счастливое невѣдѣніе людей немыслящихъ—невозможно, конечно, для того, въ комъ уже пробудилась дѣятельность сознанія: нельзя отказаться отъ того, что знаешь. Второй исходъ—это исходъ эпикуреизма. ~~Сознавая безсмысленность своей жизни,~~ люди ищутъ забвенія въ наслажденіяхъ, въ мимолетныхъ радостяхъ, ищутъ ~~опаенія~~ въ непрерывномъ опьяненіи жизнью. Но и этотъ исходъ доступенъ не всѣмъ: онъ обуславливается извѣстною тупостью воображенія. Всѣ-же не страдающіе этимъ недостаткомъ легко могутъ представить себѣ, что какая-нибудь случайность, какихъ тысячи въ жизни, можетъ отнять возможность наслажденія и дать вмѣсто нихъ необходимость страданія, что того-и-гляди придетъ нищета или болѣзнь и оставить безпомощнаго эпи-

курейца одного передъ вставшимъ вопросомъ жизни. Третій исходъ—исходъ послѣдовательности и силы. Люди, страдающіе отъ отсутствія смысла въ ихъ жизни, уничтожаютъ эту жизнь, кончаютъ самоубійствомъ. Но и на это способны не всѣ, и многіе, образующіе четвертую группу, страдая въ безплодныхъ поискахъ смысла своей жизни, такъ и остаются жить со своими страданіями и исканіями. Но это уже во-все и не выходъ изъ положенія, представляющагося невыносимымъ, а, напротивъ, безсиліе выйти изъ него.

Такимъ образомъ, жизнь культурнаго общества не давала никакихъ указаній и надеждъ на разрѣшеніе вопроса. Тогда графъ Толстой вышелъ изъ тѣснаго круга этого общества и обратился къ народу, къ человѣчеству въ его совокупности, въ его прошломъ и настоящемъ. И передъ нимъ обнаружился во всей ясности и несомнѣнности тотъ фактъ, что сравнительно только немногіе люди, только отдѣльныя единицы не знаютъ смысла своей жизни, масса-же человѣчества отъ начала своего историческаго существованія и до нашихъ дней всегда сознавала опредѣленный смыслъ жизни, всегда имѣла отвѣтъ на вопросъ о назначеніи человѣка. Этотъ смыслъ открывала человѣчеству и хранила для него религія, неизмѣнная спутница его исторической жизни. И человѣкъ принялъ откровенія и заветы религіи, принималъ не потому, чтобы она доказала ему ихъ разумность, но потому, что онъ вѣрилъ въ нихъ.

И такъ, вѣра—вотъ что даетъ знаніе смысла жиз-

ни, вотъ въ чемъ отвѣтъ на вѣчный вопросъ чело-  
вѣчества, вотъ что могло-бы прекратить муку под-  
нявшихся сомнѣній. «Вѣра есть сила жизни. Если  
человѣкъ живетъ, то онъ во что-нибудь да вѣритъ.  
Еслибы онъ не вѣрилъ, что для чего-нибудь надо  
жить, то онъ-бы и не жилъ. Если онъ не видитъ, не  
понимаетъ, что конечное есть призракъ, онъ вѣритъ  
въ конечное; если онъ понимаетъ призрачность ко-  
нечнаго, онъ долженъ вѣритъ въ безконечное. Безъ  
вѣры нельзя жить...» говоритъ графъ Толстой.

Но хорошо тому, кто выросъ въ вѣрѣ и не утра-  
тилъ ея; «блаженъ, кто вѣруетъ». А какъ быть сыну  
нашего времени, признавшему единственнымъ крите-  
ріемъ истины разумъ и потому отвергшему знаніе  
вѣры, какъ предразсудокъ челоѣчества? Поможетъ-  
ли ему убѣжденіе, что смыслъ жизни открывается  
только вѣрою? Вѣдь разумомъ принять этотъ смыслъ  
невозможно, такъ какъ онъ основанъ вовсе не на ра-  
зумѣ и съ нимъ несоизмѣримъ; принять-же его во-  
преки разуму тоже невозможно: насильно нельзя за-  
ставить себя вѣровать.

Положеніе невѣрующаго не измѣнилось и по-преж-  
нему оставалось безнадежнымъ. «Пониманіе смысла  
жизни дается вѣрою. Я не вѣрую и не могу увѣро-  
вать въ то, что представляется моему уму неразум-  
нымъ» — дальше, казалось, идти было некуда, и мно-  
гіе кончали отчаяніемъ на этомъ умозаключеніи. Но  
графъ Толстой не остановился на немъ и упорно  
продолжалъ свои исканія, пока передъ нимъ не от-  
крылась, наконецъ, какая-то новая дорога, повиди-



мому обещающая привести къ цѣли. Руководящею нитью, выведшею его на эту дорогу, была мысль, что содержаніе человѣческаго духа не исчерпывается дѣятельностью разума, что сознательная жизнь человѣка имѣетъ своимъ источникомъ не одинъ только разумъ, но и другія способности души.

Знаніе вѣры не есть знаніе разума; слѣдовательно, оно основывается не на разумѣ и пріобрѣтается не съ его помощью, а воспитывается самою жизнью, путемъ вліянія ея на какіе-то другіе элементы человѣческой природы. Но такъ какъ существуютъ и невѣрующіе люди, то очевидно, что для того, чтобы вліяніе жизни приводило къ вѣрѣ, самая жизнь должна имѣть опредѣленные качества. Чтобы понять смыслъ жизни и увидѣть въ ней благо, надо прежде всего, чтобы твоя собственная жизнь была не бессмысленна и зла, надо пережить благо жизни, прикоснуться къ нему всѣмъ существомъ своимъ, и тогда только разумъ сѣумѣетъ назвать это пережитое настроеніе. Словомъ—все дѣло въ качествахъ самой жизни.

Графъ Толстой сталъ всматриваться въ свою жизнь,—«и тутъ», говоритъ онъ, «я понялъ, что заблуждался не отъ того, что неправильно мыслилъ, а отъ того, что дурно жилъ. Я признавалъ жизнь бессмыслицей и зломъ, и моя жизнь была дѣйствительно бессмысленна и зла». А между тѣмъ это была обычная жизнь нашего культурнаго общества. Сравнивая ее съ жизнью той массы человѣчества, которая вѣритъ въ смыслъ жизни и въ ея благо, графъ

Толстой увидѣлъ два совершенно различные склада жизни, при чемъ все различіе это устанавливалось тѣмъ фактомъ, что наше образованное общество освободило себя отъ общечеловѣческой обязанности труда. Въ то время, какъ человѣкъ рабочей массы, исполняя законъ природы, въ потѣ лица добывалъ хлѣбъ свой, человѣкъ культурной среды могъ жить или совсѣмъ не трудясь, или съ однимъ подобіемъ труда. По непонятному суевѣрію, по какой-то странной слѣпотѣ, эта свобода отъ труда, эта возможность пользоваться трудомъ другихъ сдѣлалась между людьми предметомъ страстныхъ желаній, признавалась главнымъ условіемъ счастья. Въ дѣйствительности-же она породила только жестокую несправедливость и излишнія, ненужныя страданія. Съ точки зрѣнія общественной, она привела къ тому, что на каждого неработающего должны были работать другіе, вслѣдствіе чего трудъ ихъ выросъ до несообразности съ ихъ силами, сдѣлался для нихъ тяжкимъ бременемъ, разрушающимъ ихъ здоровье, поглотилъ все ихъ время, низведя ихъ на степень работающихъ машинъ,—словомъ, эта привиллегія жить безъ труда привела человѣческія общества къ тому положенію, изъ котораго возникъ соціальный или рабочій вопросъ во всемъ его ужасномъ значеніи. Съ точки зрѣнія личной—она привела къ тому, что человѣкъ, освободившій себя отъ обязательнаго труда и стремящійся къ удовлетворенію своихъ все разрастающихся похотей, нарушилъ законъ жизни, законъ человѣческаго счастья, за что и казнится не-

избѣжною потерей смысла жизни и вѣчнымъ внутреннимъ недовольствомъ.

На чемъ же, однако, держится этотъ порядокъ жизни, заставляющій однихъ страдать отъ избытка труда, другихъ—отъ его недостатка? Если въ душѣ каждаго онъ находитъ себѣ опору въ томъ роковомъ заблужденіи, что счастье—въ богатствѣ, освобождающемъ человѣка отъ обязанности трудиться, то чѣмъ оправдывается онъ въ общественномъ мнѣніи, въ сознаніи права и справедливости, на которомъ въ концѣ-концовъ основывается всякій общественный порядокъ?

Вопросъ этотъ заставляетъ графа Толстого обратиться къ міросозерцанію современныхъ обществъ, міросозерцанію, сформировавшемуся подъ вліяніемъ науки и искусства.

«На опытной, позитивной наукѣ теперь зиждется оправданіе всѣхъ людей, освободившихъ себя отъ труда», говоритъ графъ Толстой. «По опредѣленію этой науки, человѣчество или общества человѣческія суть организмы, готовые или еще образующіеся и подчиняющіеся всѣмъ законамъ эволюціи организмовъ. Одинъ изъ главныхъ законовъ этихъ есть раздѣленіе отправленій между частицами организмовъ. Если одни люди живутъ въ изобиліи, а другіе въ нуждѣ, то это происходитъ не по волѣ Бога, не потому, что государство есть форма проявленія личности, а потому, что въ обществахъ, какъ въ организмахъ, происходитъ, необходимое для жизни цѣлаго, раздѣленіе труда: одни люди исполняютъ въ обще-

ствахъ мускульную работу, другіе—мозговую». Согласно этому воззрѣнію позитивной науки, существующія въ человѣческихъ обществахъ различія положеній и занятій есть необходимое послѣдствіе органической природы этихъ обществъ, есть законъ жизни, который измѣнить невозможно и противъ котораго возмущаться бессмысленно.

Это вѣроученіе нашего времени, съ его основнымъ принципомъ органическаго развитія общества, графъ Толстой признаетъ совершенно бездоказательнымъ и вполне произвольнымъ. Логика и очевидность дѣйствительности противъ него, и если оно въ настоящее время овладѣло умами образованныхъ людей, то это единственно потому, что оно несетъ въ себѣ оправданіе человѣческихъ слабостей. Теорія эта клонится къ тому, «чтобы то раздѣленіе дѣятельности, которое существуетъ въ человѣческихъ обществахъ, признать органическимъ, т. е. необходимымъ, а потому разсматривать то несправедливое положеніе, въ которомъ находимся мы, уволившіе себя отъ труда люди, не съ точки зрѣнія разумности и справедливости, а только какъ несомнѣнный фактъ, подтверждающій общій законъ... Какъ-же не принять такую прекрасную теорію!—Стоитъ только разсматривать человѣческое общество, какъ предметъ наблюденія, и можно утѣшать себя мыслью, что моя дѣятельность, какая-бы она ни была, есть функціональная дѣятельность организма человѣчества, и потому и рѣчи даже не можетъ быть о томъ, справедливо-ли то, что я пользуясь трудами другихъ,—дѣлаю только то, что

мнѣ пріятно, какъ не можетъ быть и рѣчи о томъ справедливо-ли раздѣленіе труда между мозговой кѣткой и мускульной. То-же было и съ предшествующими ученіями, господствовавшими въ свое время надъ міромъ, — съ философіей Гегеля, съ экономической теоріей Мальтуса: и они господствовали не въ силу принадлежащей имъ истины, но лишь въ силу того, что предлагали оправданіе человѣческой несправедливости».

Но, отрицая разумность, необходимость и справедливость существующаго въ современныхъ обществахъ распредѣленія занятій, графъ Толстой не возмущается противъ самаго принципа раздѣленія труда. Раздѣленіе труда должно быть въ человѣческихъ обществахъ, но изъ этого не слѣдуетъ, что оно должно быть именно такимъ, какъ оно есть. Принципъ раздѣленія труда требуетъ, чтобы между членами общества были распредѣлены всѣ необходимыя для его существованія функціи, чтобы каждый былъ занятъ какимъ-нибудь полезнымъ трудомъ и за это получалъ отъ другихъ нужные ему продукты ихъ труда. Но такого положенія, когда человѣкъ производитъ предметы ни для кого ненужные, и требуетъ, чтобы его за это кормили,—такого положенія нельзя оправдать принципомъ раздѣленія труда, такъ какъ это уже будетъ не раздѣленіе, но захватъ чужого труда. А между тѣмъ, по словамъ графа Толстого, въ дѣйствительности существуетъ именно такое положеніе.

Выставивъ это общее начало, графъ Толстой не

занимается изслѣдованіемъ полезности каждой изъ существующихъ въ обществѣ человѣческихъ дѣятельностей; онъ останавливается на первомъ раздѣленіи труда—на умственный и физическій—и рассматриваетъ только духовную дѣятельность современнаго человѣка, выражающуюся въ занятіяхъ науками и искусствами. «Мы мозгъ народа. Онъ кормитъ насъ, а мы его взяли съ учить. Только во имя этого мы освободили себя отъ труда. Чему-же мы научили и чему учимъ его?» спрашиваетъ графъ Толстой.

Обращаясь прежде всего къ прикладной наукѣ, къ техникѣ, изобрѣтенія которой непосредственно входятъ въ практическую жизнь, онъ замѣчаетъ, что всѣ успѣхи ея «по особенной несчастной случайности, признаваемой и людьми науки, до сихъ поръ не улучшили, а скорѣе ухудшили положеніе большинства, т. е. рабочаго». Стоитъ припомнить, напри- мѣръ, изобрѣтеніе машинъ, лишившее работника самостоятельности и приведшее его въ зависимость отъ фабриканта и т. п. Если-же какое-нибудь усовершенствованіе жизни, открытое наукой, и бываетъ иногда полезно народу, то это—чистая случайность въ дѣятельности нашихъ ученыхъ, наступившая лишь потому, что народу не запрещается пользоваться изобрѣтеніями науки, но не потому, чтобы люди науки стремились въ своихъ занятіяхъ къ благу народа, чтобы они желали быть ему полезными. Наши техники, механики, врачи, педагоги желаютъ и умѣютъ служить только обезпеченному культурному классу. Ихъ знанія и приемы не приспособлены къ условіямъ

трудовой народной жизни и они ничего почти не сдѣлали для удовлетворенія ея нуждамъ.

«Мы выдумали», пишетъ авторъ, «телеграфы, телефоны, фонографы; а въ жизни, въ трудѣ народномъ, что мы подвинули? Пересчитали два милліона букашекъ! А приручили-ли хотя одно животное со временъ библейскихъ, когда уже наши животныя давно были приручены? А лось, олень, куропатка, тетеревъ, рябчикъ—все остаются дикими. Ботаники нашли и клѣточку, и въ клѣточкахъ-то протоплазму, и въ протоплазмѣ еще что-то и въ той штучкѣ еще что-то..., а со временъ египетской древности и еврейской, когда уже была выведена пшеница и чечевица, до нашего времени не прибавилось для пищи народа ни одного растенія, кромѣ картофеля, и то приобрѣтеннаго не наукой. Выдумали торпеды, приборы для акциза и т. п., а прялка, ткацкій станокъ бабій, соха, топориче, цѣпъ, грабли, ушатъ, журавецъ—все такіе-же, какъ были при Рюрикѣ и т. д.». То-же самое можно сказать и про современныхъ художниковъ и поэтовъ. И они служатъ интересамъ и потребностямъ только небольшого кружка образованныхъ людей. Они пишутъ картины и слишкомъ дорогія для народа, и недоступныя ему по сюжету. Музыкальныя произведенія нашихъ композиторовъ рассчитаны на образованную публику и совершенно непонятны народу. Поэты также творятъ не для народа, и смыслъ ихъ произведеній по-прежнему темень для него. И забытый своею интеллигенціею народъ уже привыкъ искать удовлетворенія своимъ духов-

нымъ потребностямъ мимо ея и на ея глазахъ становится жертвою спекуляцій разныхъ полуграмотныхъ издателей и авторовъ. При такомъ значеніи для народа дѣятельности людей науки и искусства, имѣютъ-ли они право жить на счетъ труда этого народа?

Но наука и искусство призваны служить не однимъ только утилитарнымъ цѣлямъ практической жизни. Главное и высшее ихъ назначеніе—удовлетворять духовнымъ потребностямъ человѣка. Можетъ быть, современная наука сдѣлала многое въ этомъ отношеніи? Въ настоящее время человѣчество владѣетъ извѣстною суммою знаній, накопленныхъ втеченіе его многовѣковаго историческаго существованія. Но вся эта масса знаній, по мнѣнію гр. Толстого, не есть еще наука въ строгомъ смыслѣ слова. Знанія эти касаются множества самыхъ разнообразныхъ предметовъ и человѣкъ потерялся-бы въ этомъ беспорядочномъ множествѣ, еслибы при изученіи ихъ у него не было руководящей нити, еслибы нельзя было расположить эти знанія по стѣпени ихъ относительной важности для человѣка. Необходимо, слѣдовательно, знать, какія изъ нихъ первой, какія меньшей важности. «И это-то, руководящее всѣми другими знаніями, знаніе люди всегда называли наукою въ тѣсномъ смыслѣ». Важнѣйшимъ-же вопросомъ во всемъ человѣческомъ знаніи всегда былъ вопросъ о томъ, *въ чемъ назначеніе и потому истинное благо каждаго человѣка и всѣхъ людей.* Попытки отвѣтить на этотъ вопросъ и составляютъ человѣческую



науку. Такова, говоритъ гр. Толстой, была наука Конфуція, Будды, Сократа, Магомета и другихъ; такою наука была всегда и только изъ этой науки опредѣлялось значеніе всѣхъ другихъ знаній человѣчества. Существованіе такой науки всегда признавалось необходимымъ, такъ какъ предметовъ наукъ *безчисленное* количество въ точномъ смыслѣ этого слова, и безъ знанія того, въ чемъ назначеніе и благо всѣхъ людей, нѣтъ возможности выбора въ этомъ безконечномъ количествѣ предметовъ и потому безъ этого знанія всѣ остальные знанія становятся бесполезнымъ и ненужнымъ матеріаломъ, самая-же дѣятельность ученыхъ—праздной забавой. Если взглянемъ теперь съ этой точки зрѣнія на современную науку, то увидимъ, что она отвергла знаніе о назначеніи человѣка и, взявъ своимъ девизомъ изученіе фактовъ и явленій міра, оставила ученаго безъ плана и безъ компаса передъ безконечностью этихъ явленій. И это-то отрицаніе самой сущности науки, отрицаніе, при которомъ немыслима никакая наука, навываютъ теперь положительною наукой!

Не лучше и положеніе искусства. Безъ истинной науки не можетъ быть, по мнѣнію графа Толстого, и искусства, такъ какъ оно есть ничто иное, какъ *выраженіе знанія о назначеніи и благе* человека. Съ того-же времени, какъ затерялось это знаніе, невозможнымъ сдѣлалось и существованіе искусства, которое и превратилось у насъ въ ремесло, доставляющее людямъ пріятныя ощущенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ утратило всякое право возвышаться надъ хо-

реграфическимъ, кулинарнымъ, косметическимъ и т. п. искусствами.

Свой трактатъ о назначеніи науки и искусства графъ Толстой заканчиваетъ слѣдующими словами «Пора опомниться и оглянуться на себя. Вѣдь мы ничто иное, какъ книжники и фарисеи, сѣвшіе на сѣдалище Моисея и взявшіе ключи отъ царства небеснаго, и сами не входящіе и другихъ не впускающіе. Вѣдь мы—жрецы науки и искусства—самые дрянныя обманщики, имѣющіе на наше положеніе гораздо меньше правъ, чѣмъ самые хитрые и развратные жрецы. Вѣдь для привилегированнаго положенія нашего у насъ нѣтъ никакого оправданія. Жрецы имѣли право на свое положеніе—они говорили, что учать людей жизни и спасенію. Мы-же стали на ихъ мѣсто и не учимъ людей жизни, даже признаемъ, что учиться этому не надо, а учимъ своихъ дѣтей тому-же нашему талмуду—греческой и латинской грамматикѣ, для того, чтобы и они могли продолжать ту-же жизнь паразитовъ, какую мы ведемъ» (ч. XII, стр. 328).

Но что-же намъ дѣлать? На этотъ, неизбежно возникающій изъ всего ученія, вопросъ графъ Толстой даетъ слѣдующіе три отвѣта.

Во-первыхъ: не лгать ни передъ людьми, ни передъ собою, не бояться истины, куда-бы она ни привела насъ.

Все значеніе этого отвѣта будетъ понятно намъ только тогда, если мы представимъ себѣ, какъ трудно привилегированному человѣку примѣнять, во всей

ихъ чистотѣ, требованія своего разума и совѣсти; какъ трудно разойтись во имя ихъ со всѣми окружающими и остаться одному; какъ трудно, словомъ, разстаться съ привычною ложью жизни. А всего этого требуетъ правило: не лгать передъ собой.

Во-вторыхъ: отречься отъ сознанія своей правоты, своихъ преимуществъ, особенностей передъ другими людьми, и признать себя виноватымъ.

Только отреченіе отъ сознанія себя существомъ особеннымъ, имѣющимъ право на особенное между людьми положеніе и призваннымъ къ какой-то исключительно-полезной дѣятельности, являющейся главнымъ источникомъ нравственныхъ страданій человѣка,—только такое отреченіе можетъ привести его къ исполненію того вѣчнаго и несомнѣннаго закона жизни, требованіе котораго составляетъ содержаніе третьяго отвѣта графа Толстого:—«трудомъ всего существа своего, не стыдяся никакого труда, бороться съ природою, для поддержанія жизни своей и другихъ людей».

Трудъ обязателенъ для человѣка, какъ законъ жизни, какъ условіе его счастья. Человѣкъ долженъ выпустить зарядъ энергіи, принимаемый имъ въ видѣ пищи, долженъ работать физическимъ, мускульнымъ трудомъ. Исполняя этотъ общій законъ природы, изъ подъ дѣйствія котораго человѣкъ не можетъ безнаказанно выйти, онъ можетъ получить полное удовлетвореніе своихъ потребностей: работая на себя, онъ удовлетворяетъ фізіологической сторонѣ своей природы, работая для другихъ людей—удовле-

творяетъ своей духовной потребности. Вотъ путь, который, по мнѣнію графа Толстого, можетъ вывести человѣка изъ опутавшей его лжи и дать ему радостную и счастливую жизнь.

Предложенное графомъ Толстымъ разрѣшеніе вопроса: что дѣлать?—имѣетъ не одно только личное значеніе. Это въ то-же время и разрѣшеніе вопроса экономическаго и соціальнаго, который, по мнѣнію нашего автора, есть въ сущности вопросъ крыловскаго ларчика. Его надо просто открыть. И онъ дѣйствительно открывается естественнымъ стремленіемъ человѣка къ его собственному счастью, къ его нравственному успокоенію, разъ только онъ пойметъ, что его счастье въ исполненіи закона жизни, повелѣвающаго ему трудиться для себя и другихъ.

Очеркъ своего идеала общественной жизни графъ Толстой даетъ въ сказкѣ объ Иванѣ дуракѣ и его двухъ братьяхъ, показывая намъ царство, гдѣ всѣ люди работаютъ, гдѣ война невозможна, за отсутствіемъ сопротивленія, гдѣ деньги служатъ только игрушкою дѣтей и гдѣ не пускаютъ за столъ никого безъ трудовых мозолей на рукахъ.

Таковы главные основанія, осто́въ ученія графа Толстого.

---

## XI.

### Значеніе этическаго ученія графа Толстого.

Какъ всякая практическая философія, какъ нравственный кодексъ жизни, ученіе графа Толстого предполагаетъ подъ собою цѣлое опредѣленное міросозерцаніе; полный разборъ его могъ-бы быть выполненъ только въ обширной и трудной работѣ, восходящей къ самымъ первоначальнымъ вопросамъ и заключающей въ себѣ пересмотръ и повѣрку всѣхъ тѣхъ положеній, изъ которыхъ нашъ авторъ выводитъ свой практическій идеалъ жизни. Въ томъ-же небольшомъ очеркѣ, который мы можемъ посвятить оцѣнкѣ этого идеала, нечего, конечно, и думать о подобной задачѣ: мы хотимъ только опредѣлить его своеобразный характеръ, его основныя черты и особенности и затѣмъ отвѣтить на вопросъ: почему графъ Толстой возбудилъ своимъ ученіемъ такой интересъ въ нашемъ обществѣ? Какою силою дѣйствуетъ это ученіе? Чѣмъ оно привлекаетъ, а иногда и подчиняетъ себѣ человѣка?

При внимательномъ отношеніи къ проявленіямъ духовной жизни человѣчества нельзя не замѣтить, что въ наше время, въ наши послѣднія десятилѣтія, совершился какой-то переломъ этой жизни: что-то старое отжило, возникаетъ что-то иное. Девятнадцатый вѣкъ сходитъ со сцены; начинается новый періодъ жизни. Пока — это новое направленіе сказывается, главнымъ образомъ, какъ отрицаніе, какъ своего рода протестантизмъ. Когда-то человѣкъ во имя разума протестовалъ противъ религіозной ортодоксіи, противъ обязательнаго символа вѣры, противъ принужденія совѣсти. Разумъ сдѣлалъ свое дѣло—освободилъ человека отъ власти догматики. Теперь человѣкъ протестуетъ противъ чрезмѣрныхъ притязаній разума, забывшаго, что онъ есть живая личность, сложный и разнообразный организмъ потребностей, а не только воплощенная логическая способность, могущая удовлетвориться одними раціональными построеніями.

Много отвѣтовъ было предложено разумомъ на вѣчный, общечеловѣческій вопросъ: какъ должно жить и что дѣлать? Много философскихъ системъ и этическихъ доктринъ было построено для его разрѣшенія; но пока человѣкъ требовалъ разумнаго доказательства всѣхъ этихъ системъ и доктринъ, онѣ всегда оказывались произвольными, лишенными основанія, опирающимися на что-то для разума недоступное. Продолжительный опытъ привелъ наконецъ человека къ сознанію, что разумъ безсиленъ создать тотъ идеаль, осуществленіе котораго могло-бы стать цѣлью его жизни; а несомнѣнные факты прошлаго и настоя-

щаго въ то же время убѣждали его, что человѣчество постоянно владѣло такими идеалами. Выводы явились сами собою: онъ понялъ, что не разумъ создалъ тѣ образы, которыми жило человѣчество, и что не въ разумѣ коренилась ихъ сила; онъ понялъ, что образъ, создаваемый человѣкомъ, имѣетъ какую-то непосредственную власть надъ его душою, можетъ произвести въ ней то потрясеніе, силою котораго его воля возбуждается къ опредѣленному дѣйствию. Словомъ, онъ понялъ, что заблуждался, когда, раздробивъ свою личность, жилъ только одною частью ея, когда всю духовную жизнь ограничилъ сферою разума и, какъ на признаки грубаго суевѣрія и невѣжества, смотрѣлъ на всякую идею, неподлежащую логическому доказательству. Вотъ этотъ-то протестъ противъ исключительнаго господства разума, это признаніе иныхъ, не разумныхъ, основаній нравственнаго идеала—это-то и составляетъ содержаніе новаго направленія духовной жизни, начавшагося въ послѣднее время.

Но какъ ни важно истинное знаніе того пути, которымъ человѣкъ можетъ придти къ идеалу, само по себѣ такое знаніе еще не даетъ удовлетворенія, все равно какъ совершенно правильное представленіе голоднаго, что ему нуженъ хлѣбъ, а не камень, не утолитъ его голода. Нужно дѣйствительно добыть хлѣба; нужно дѣйствительно создать идеаль. Нужно создать такой идеаль, который-бы отвѣчалъ требованіямъ настоящаго времени, который-бы присущо

ему нравственною силою могъ подчинить себѣ душу современнаго человѣка.

Этическое ученіе графа Толстого представляетъ попытку создать такой идеаль для нашего времени.

Когда, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, графъ Толстой написалъ свою «Исповѣдь», и она, несмотря на всѣ трудности, сдѣлалась извѣстна обществу, нельзя было не замѣтить, что успѣхъ ея былъ совершенно несоизмѣримъ съ успѣхомъ другихъ произведеній нашей литературы. Не говоря уже о размѣрахъ вызваннаго ею интереса, качественно къ ней относились совсѣмъ не такъ, какъ привыкли относиться къ произведеніямъ другихъ авторовъ. Видно было, что она затронула какія-то глубокія и сильныя потребности человѣческой души, что она отвѣтила какому-то большому и важному ожиданію. «Исповѣдь», какъ извѣстно, есть исторія сомнѣній и исканій автора. Въ ней выступаетъ живая личность человѣка, съ неистребимымъ въ ней сознаніемъ своей свободы, съ неизбѣжнымъ вопросомъ: какъ опредѣлить свою жизнь, какъ вести ее въ виду необходимости выбора каждую минуту, при каждомъ дѣйствіи? Глубокое пониманіе истинныхъ потребностей человѣческой души, искренность и послѣдовательность мысли, которая не боится никакихъ выводовъ, сдѣлали то, что «Исповѣдь» графа Толстого потеряла свой личный характеръ и явилась какъ-бы общечеловѣческимъ выраженіемъ нравственныхъ стремленій и исканій. Путь, пройденный графомъ Толстымъ, представляется неизбѣжнымъ для всякаго сознанія, разъ только въ немъ возникнетъ



вопросъ о цѣли жизни и скажется потребность нравственнаго идеала. Но такой вопросъ получилъ особенное значеніе именно въ наше время, и такая потребность всего сильнѣе ощущается именно современнымъ человѣкомъ—и вотъ это-то и сблизило графа Толстого съ обществомъ, это-то и вызвало тотъ необыкновенный интересъ къ его этическому ученію, о которомъ мы только что говорили. Современный человѣкъ уже не можетъ понимать языкъ отдаленныхъ предковъ, завѣщавшихъ ему свои нравственные идеалы. Ихъ вѣра уже чужда ему, ихъ идеалы уже не властны надъ нимъ. Казалось-бы, всякое время должно быть способно къ нравственному творчеству, къ созданію такихъ образовъ жизни, которые могли бы удовлетворить соотвѣтствующаго ему человѣка; но, къ сожалѣнію, это далеко не такъ... И наше послѣднее столѣтіе — эпоха разума и новой науки—ничего не сумѣло создать для удовлетворенія нравственной личности. Громко провозгласивъ себя единственнымъ источникомъ истины, эта наука до сихъ поръ только собираетъ крупинки знанія, изъ которыхъ нѣтъ никакой возможности сдѣлать нужный для человѣка выводъ о цѣли его жизни, о необходимыхъ ему принципахъ дѣятельности. Только недавно созрѣла и окрѣпла въ нашемъ обществѣ мысль, что современная наука безсильна создать идеалы, удовлетворяющіе живую человѣческую личность, и оно стало искать другихъ источниковъ удовлетворенія своихъ духовныхъ потребностей. Въ это время графъ Толстой выступилъ со своими этическими произве-

деніями, Онъ говорилъ языкомъ понятнымъ для насъ, онъ родной намъ по духу, онъ самъ пережилъ наши иллюзіи и разочарованія и онъ въ основаніе своего ученія ставилъ тотъ-же вопросъ, которымъ и мы всѣ мучились,—вопросъ: какъ должно жить и что дѣлать? Явись его ученіе нѣсколько десятилѣтій назадъ, оно не имѣло-бы теперешняго значенія, такъ какъ тогда человѣкъ не изжилъ еще своей вѣры во всемогущество точной науки. Есть, впрочемъ, еще одна причина, почему ученіе графа Толстого не могло-бы быть принято въ нашемъ недавнемъ прошломъ. Ученіе это отправляется отъ сознающаго свою особность я, отъ личности, отъ блага конкретнаго человѣка. Въ недавнемъ-же прошломъ господствовала идея общаго блага; человѣкъ работалъ надъ общественными задачами и настолько былъ увлеченъ ими, что въ немъ и не шевелились еще сомнѣнія о томъ, исполняетъ-ли онъ свое назначеніе, предаваясь этой дѣятельности, и какимъ результатомъ скажутся на его собственномъ счастьи успѣхи его общественныхъ предприятий. И здѣсь нуженъ былъ опытъ, нуженъ былъ отливъ общественныхъ увлеченій, нуженъ былъ смѣлый шагъ мысли, чтобы личность выдѣлила себя изъ общества и сознала самостоятельность своихъ цѣлей и необходимое первенство вопросовъ собственного счастья. Все это было въ нашей жизни. И разочарованіе въ соціальныхъ идеалахъ, и упадокъ общественныхъ интересовъ, и индивидуалистическая тенденція, направившая мысль на разработку внутренней личности,—все это прошло у насъ передъ гла-

зами, подготовило почву учению графа Толстого и еще разъ доказало, насколько тѣсно, органически связанъ этотъ писатель съ своимъ обществомъ. Онъ переживаетъ тѣ-же вопросы и настроенія, что и общество; только онъ скорѣе справляется съ ними и умѣетъ дать имъ ясное выраженіе въ то время, какъ въ остальномъ обществѣ они находятся еще въ состояніи смутной, не опредѣлившейся тревоги.

Создавая нравственный идеалъ непосредственными силами личности, гр. Толстой, какъ мы знаемъ, отрицательно отнесся къ складу современной жизни и притомъ не только къ внѣшнимъ формамъ ея, но и къ тѣмъ принципамъ и стремленіямъ, которыя образовали ее и которыя онъ обнимаетъ въ общемъ понятіи «ученія міра». На ученіе это онъ смотритъ какъ на глубокое заблужденіе, заставляющее человѣка всю жизнь гоняться за призраками счастья и скрывающее отъ него то дѣйствительное благо, къ которому призываетъ его природа. Избѣгая простоты и труда, презирая естественныя, здоровыя радости и вѣчно стремясь къ разнообразію наслажденій, уходя изъ Божьяго міра въ свой искусственный комфортъ и отгораживаясь отъ большинства людей тщеславною выдумкою своихъ особенныхъ достоинствъ, человѣкъ нашей культуры, по мнѣнію графа Толстого, выбралъ ложный путь, неправильно построилъ свою жизнь. Но ложь этой жизни чувствуетъ и самъ культурный человѣкъ. Она проводится въ его сознаніе то посредствомъ безысходной тоски и повидимому безпричинной скуки, то вспышками возмущаю-

щейся совѣсти. Не случайны, конечно, тѣ явленія апатіи и отвращенія къ жизни, часто кончающіяся самоубійствомъ, которыя такъ характерны для нашего культурнаго общества. Не случайны также и возмущенія нравственнаго чувства противъ роковыхъ послѣдствій установившагося порядка жизни. Все это ясно свидѣтельствуешь о разрастающейся ненормальности этого порядка, о томъ, что жить человѣку становится все труднѣе и мучительнѣе. Современный человѣкъ сознаетъ это и въ отрицаніи графа Толстого опять-таки находитъ выраженіе своихъ собственныхъ настроеній.

Но зачѣмъ же человѣкъ создалъ себѣ такую жизнь и живетъ на этой добровольной каторгѣ?

По мнѣнію графа Толстого, въ образѣ жизни современнаго человѣка нѣтъ ничего обязательнаго. Нѣтъ законовъ, которые-бы заставляли человѣка жить вопреки требованіямъ его природы, и если онъ живетъ такъ, то только потому, что самъ допускаетъ такую жизнь, только потому, что даетъ господствовать надъ собой тѣмъ мелкимъ страстямъ и желаніямъ, которыя находятъ въ ней удовлетвореніе. Ничего органическаго нѣтъ въ этой жизни, и отъ самого человѣка зависитъ вывести свою личность изъ этой традиціонной лжи и устроить себѣ иную жизнь, болѣе естественную и согласную съ его нравственною природою. Нужно только признать дѣйствительное значеніе требованій этой природы и отказаться отъ того, совершенно произвольнаго, по мнѣнію графа Толстого, воззрѣнія, что современный порядъ

жизни есть необходимая стадія въ процессѣ социальнаго развитія человѣчества, противъ котораго безсильны всѣ стремленія отдѣльных лицъ. Графъ Толстой энергически возстаетъ противъ такого фатализма и противопоставляетъ ему ободряющую идею свободного творчества какъ личной, такъ и общественной жизни. То зло, которое каждый человѣкъ можетъ устранить изъ своей жизни, можетъ быть уничтожено и въ жизни общественной.

«Есть, говорить онъ, индѣйская сказка о томъ, что человѣкъ уронилъ жемчужину въ море, и чтобы достать ее, взялъ ведро и сталъ черпать и выливать на берегъ. Онъ работалъ такъ не переставая, и на седьмой день морской духъ испугался того, что человѣкъ осушитъ море, и принесъ ему жемчужину. Если-бы наше общественное зло угнетенія человѣка было море, то и тогда та жемчужина, которую мы потеряли, стоить того, чтобы отдать свою жизнь на вычерпываніе моря этого зла. Князь міра сего испугается и покорится скорѣе морского духа; но общественное зло не море, а вонючая помойная яма, которую мы старательно наполняемъ сами своими нечистотами. Стоить только очнуться и понять, что мы дѣлаемъ, разлюбить свою нечистоту, чтобы воображаемое море тотчасъ изсякло и мы овладѣли безцѣнной жемчужиной братской, человѣческой жизни».

За послѣднее время человѣкъ сильно запустилъ свою нравственную личность. Цивилизованная жизнь выработала торныя дороги, на которыя вступалъ каждый чуть-ли не съ самаго рожденія и покорно

шелъ по нимъ, принимая ихъ какъ что-то неизбежное. Хороши-ли онѣ, дурны-ли, онъ не спрашивалъ. Такъ жили, такъ живутъ—значить такъ должно жить, значить такова судьба человѣка, думалъ онъ, и вмѣсто того, чтобы осуществлять въ своей личности то лучшее, о чемъ говорили ему его разумъ и совѣсть, онъ принижалъ ее до господствующаго уровня нравственности и подчинялъ существующимъ формамъ жизни. Въ этой нравственной пассивности графъ Толстой видитъ главную причину несчастій современнаго человѣка и горячо призываетъ его къ работѣ внутренняго усовершенствованія, исторіей своей жизни убѣждая его, что людямъ даны сила и возможность осуществлять ихъ идеалы въ дѣйствительности. Къ этому-то призыву, намъ кажется, всего внимательнѣе и прислушивается наше общество.

Но для того, чтобы призывъ этотъ могъ получить какое-либо практическое значеніе, необходимо было выработать идеаль, который-бы подлежалъ осуществленію. И графъ Толстой, какъ мы знаемъ, вышелъ на проповѣдь не съ однѣми общими фразами; онъ несъ съ собою совершенно опредѣленный идеаль жизни. Обязанность каждаго личнымъ, физическимъ трудомъ участвовать въ борьбѣ человечества съ природою, простота и правда жизни, разумная послѣдовательность въ удовлетвореніи потребностей, свободное, братское общеніе со всѣми людьми—вотъ сжатая формула этого идеала.

Идеаль этотъ, какъ и всякій вообще идеаль, выходящій изъ блестящей дали неопредѣленныхъ меч-

таній и облекающійся въ реальныя формы жизни,— разочаровалъ многихъ. Однимъ показалось ничтожнымъ его жизненное значеніе: они увидѣли въ немъ только выходъ изъ положенія небольшой кучки праздныхъ людей. Другіе не могли помириться съ его бѣдностью, съ его будничнымъ, сѣренькимъ видомъ. Третьи признавали его невозможнымъ.

Съ первыми можно согласиться въ томъ, что идеаль графа Толстого вносить нѣчто новое только въ жизнь сравнительно небольшого круга людей, освободившихся отъ обязанности труда, что дѣйствіе этого идеала ограничено. Но эта ограниченность въ настоящемъ случаѣ доказываетъ только его универсальность и жизнеспособность, такъ какъ происходитъ не отъ того, чтобы требованія его были непримѣнны къ большинству человѣчества, а отъ того, напротивъ, что трудящаяся масса уже и въ настоящемъ своемъ состояніи отвѣчаетъ основнымъ принципамъ этого идеала. Для полного торжества его въ жизни необходимо только, чтобы принципы эти были приняты и осуществлены и тѣми людьми, которые не покорились общему закону труда и ушли отъ него или въ полную праздность, или въ сферу труда привилегированнаго. Если-же торжество этого идеала наступитъ, если онъ примется всѣми людьми, жизнь наша измѣнится до неузнаваемости. Идеаль графа Толстого касается тѣхъ глубокихъ основъ жизни, на которыхъ держится весь современный строй ея, и измѣненіе которыхъ необходимо повлечетъ за собой переустройство всѣхъ жизненныхъ отношеній. Все

должно измѣниться подѣ вліяніемъ того новаго вѣянія жизни, съ которымъ связано осуществленіе этого идеала труда:—быть частный и общественный, здоровье и нравственность человѣка, его удовольствія, его наука и искусство—все должно перемѣнить свой характеръ и образъ и приспособиться къ новому началу жизни.

«Но—говорять другіе—вѣчный трудъ, простота и размѣренность жизни... Торжествующая физиологія!.. Какъ это тускло, бѣдно, непривлекательно! Это знакомое намъ «мужицкое счастье», и образъ его не овладѣетъ нашей фантазіей». Да, не на праздникъ зоветъ графъ Толстой человѣка, а на трудный подвигъ жизни. Онъ не скрываетъ будничной стороны своего идеала, не зарисовываетъ ее яркими красками, не сулитъ шума и блеска въ его осуществленіи. Трудъ и воздержаніе—законъ жизни, говоритъ онъ. А потому подвигъ труда и воздержанія—необходимый жребій человѣка, указанный ему природою. Возставая противъ него, убѣгая отъ труда и безгранично отдаваясь своимъ влеченіямъ, человѣкъ совершаетъ зло и несетъ за то тяжкія послѣдствія. Все оцѣнивается сравнительно: какъ ни бѣдна и ни скромна жизнь, согласная съ требованіями природы, но все-же она даетъ человѣку больше счастья, чѣмъ погоня за блестящими призраками, чѣмъ жизнь съ несбывающимся ожиданіемъ невозможныхъ наслажденій. Графъ Толстой разоблачилъ эту жизнь, показалъ, что она такое въ дѣйствительности, показалъ ненужность ея цѣлей и интересовъ, ничтожность ея



утѣхъ, безчеловѣчность ея отношеній и ту мучительную душевную пустоту, которую безсильны наполнить рождаемая ею разнообразныя, но поверхностныя и скоропроходящія ощущенія. Вспомните, на примѣръ, Ивана Ильича и его жизнь... Вмѣстѣ съ этимъ графъ Толстой заставилъ своихъ читателей почувствовать, что жизнь труда и умѣренности вовсе не такъ страшна и, главное, не такъ пошла, какъ ее обыкновенно представляютъ. Онъ раскрылъ передъ нами таящіяся въ ней огромныя задачи борьбы съ природою и съ собою, показалъ ея несомнѣныя радости—бодрость духа и спокойствіе совѣсти, проистекающія изъ правильнаго удовлетворенія человѣкомъ его физическихъ и нравственныхъ потребностей. Пора отрезвиться, довольно обмановъ! Если на землѣ невозможно то лучезарное счастье, которое носилось передъ нами въ нашихъ поэтическихъ грезахъ, то нечего и гнаться за нимъ и вмѣсто этихъ бесплодныхъ и мучительныхъ исканій лучше принять хотя и скромныя, но дѣйствительныя блага трудовой и человѣчески-справедливой жизни.

Таковъ выводъ изъ ученія графа Толстого.

Какъ ни почтенны, однако, начала труда и справедливости, защищаемыя этимъ ученіемъ въ качествѣ основаній новой жизни, но это не мѣшаетъ многимъ сомнѣваться въ возможности осуществить эту жизнь въ наше время. Какъ отнесутся къ этимъ началамъ современныя общества? Много-ли найдется людей, способныхъ слѣдовать ученію графа Толстого?—Не вдаваясь въ подробный разборъ этихъ вопро-

совѣ, замѣтимъ только, что ученіе графа Толстого появилось какъ нельзя болѣе своевременно. Основной принципъ этого ученія—равенство всѣхъ передъ обязанностью трудиться—есть въ то-же время и логическій выводъ демократической тенденціи, начавшейся въ прошломъ вѣкѣ и все возрастающей вплоть до нашего времени. Разница только въ томъ, что демократизмъ—идея общественная, и для него принципъ равенства и вытекающая изъ него обязанность всякаго трудиться есть условіе общественнаго блага. Ученіе-же графа Толстого—идея этическая, и для него упомянутый принципъ есть условіе индивидуальнаго блага личности. Отправляясь отъ противоположныхъ началъ, обѣ идеи приходятъ къ одному и тому-же выводу и, встрѣчаясь въ немъ, оказываютъ другъ-другу взаимную поддержку. Ученіе графа Толстого нашло сознаніе современныхъ обществъ уже подготовленнымъ для воспріятія указываемаго имъ идеала жизни и въ то-же время само создало новый стимулъ для осуществленія началъ демократіи. Съ необыкновенною простотою, съ грубою осязательностью доказываетъ графъ Толстой необходимость труда для всякаго человѣка ради его-же собственнаго счастья. Человѣкъ долженъ мускульнымъ трудомъ выпустить полученный имъ зарядъ энергіи, иначе онъ заболѣетъ физически и нравственно—вотъ основное положеніе практической морали графа Толстого, и положеніе это силою вещей входитъ въ самую глубь того соціального вопроса, разрѣшеніе котораго составляетъ главную злобу настоя-

щаго времени. Эгоистическимъ клиномъ графъ Толстой раскалываетъ этотъ упорно неподдающійся разрѣшенію вопросъ, сводя задачу соціальной политики къ вопросу личной гигиѣны. Въ этомъ смыслѣ онъ правъ, говоря, что ларчикъ общественнаго благоустройства открывается просто. Пусть только каждый правильно стремится къ своему собственному счастью—и въ результатъ необходимымъ образомъ окажутся и возростаніе общественнаго богатства, и приближеніе къ идеалу человѣческой справедливости.

Послѣ всего сказаннаго сдѣлается понятнымъ, почему графъ Толстой имѣлъ право на то вниманіе и интересъ, съ какимъ отнеслось къ нему наше общество. Онъ родной сынъ своего времени. Онъ пережилъ всѣ крупнѣйшіе вопросы разума и совѣсти современнаго человѣка и не устранился, не бѣжалъ отъ этихъ, иногда мучительныхъ, вопросовъ, но взялъ на себя трудный подвигъ ихъ уясненія и разрѣшенія. Съ безпримѣрной у насъ настойчивостью приложилъ онъ всѣ силы своихъ огромныхъ дарованій къ отысканію нужной человѣку истины. Онъ искалъ эту истину не умомъ только, а всѣмъ нравственнымъ существомъ своимъ, не въ кабинетѣ писателя, а въ широкой и разнообразной жизни народа. Усилія его увѣнчались успѣхомъ—онъ разобрался въ лабиринтѣ сложной человѣческой природы и далъ свои отвѣты на основные, неизбѣжные вопросы современной мысли. Многое въ этихъ отвѣтахъ несогласно съ господствующимъ міровоззрѣніемъ, съ ходячими взглядами общества, многое въ нихъ кажется страннымъ и

Цѣна 1 руб.